

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК



Горное гнездо

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Встречи: очерки и рассказы

Наряду с известным романом Д. Н. Мамина-Сибиряка «Горное гнездо» в книгу вошел цикл очерков и рассказов «Встречи», издававшийся при жизни писателя отдельным сборником.

<https://traumlibrary.ru>

**Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк**
Встречи: очерки и рассказы

Встречи

Правильные слова

I

Мы ехали первый раз на студенческую летнюю «побывку». Вернуться домой студентом – это уже говорило достаточно само за себя. Еще в Петербурге составила́сь целая компания, и мы весело катили на далекую родину, минуя чужие города, чужих людей и вообще чужую сторону. Домой – сколько хороше́го, молодого, здорового и теплого в одном этом слове!..

Москва, Нижний, Казань мелькнули как-то особенно быстро, и мы с нетерпением ждали родной Камы с ее крутыми, глинистыми берегами, траурным лесом и родным холодком. Пароход «Купец» шел очень медленно, и в помещении третьего класса в майские ночи было порядочно-таки холодно, особенно принимая во внимание наши летние «сак-пальто» с Апраксина. Когда пароход вошел в Каму, наше положение оказалось почти критиче-

ским – потянуло «сиверком», воздух настоль-
ко засвежел, что благоразумные люди пона-
девали шубы. Днем мы кое-как перебивались
еще около машины, но страшна была близив-
шаяся холодная ночь.

Спасение явилось совершенно неожидан-
но в лице сплавщика с реки Белой, у которого
оказалось с собой целых два бараньих тулупа,
не считая надетого на нем полушубка из до-
машней овчины.

– Всех угрею, – радушно приглашал старик,
снисходя к нашей господской беспомощно-
сти. – Один тулуп постелем на пол, а другим
сверху накроемся. Тут нас из пушки не про-
шибешь...

Как теперь вижу этого сплавщика... Высо-
кий, плечистый, с большой косматой голо-
вой, он выделялся из остальной толпы пасса-
жиров, как настоящий богатырь. Такие типы
попадают еще в захолустьях, как Уфимская
губерния. Замечательнее всего у нашего бога-
тыря было лицо – широкое, с окладистой бо-
родой и славянскими серыми глазами; на
этом лице лежала печать удивительной доб-
роты, а глаза смотрели совсем по-детски. Он и

говорил совсем особенно, тем языком, от которого веяло нетронутым домашним теплом. Помимо его тулупов сплавщик приводил нашу компанию в восторг; как редкий представитель настоящего «народа», и притом наш мужик, вспоенный уральской водой. Сказался известный областной патриотизм, да и старик оказался таким разговорчивым, интересным. Его речь так и пересыпалась поговорками, прибаутками и тем красным словом, по которому узнаешь умного человека сразу.

– Вы из школьников будете? – расспрашивал он нас. – На побывку домой потянули...

– Не школьники, а студенты, – поправлял кто-то, обиженный названием школьника.

– Ну, скубенты так скубенты: все одно, – утрею... Кто ни поп, тот и батька, а у меня домашнего тепла на весь пароход хватит. Будем друг о дружку греться...

Кама была в полном разливе, и нужно было видеть, как любовался могучей рекой старик. Он знал каждую отмель, каждый островок и мог «пробежать» на пароходе с закрытыми глазами. Эта любовь к своей реке, к своим местам и к своему вообще отвечала как

нельзя лучше нашему общему настроению, и старик в наших глазах в течение одних суток вырос в какого-то сказочного богатыря. О реке он говорил как о живом существе и говорил так любовно, тепло, что мы и сами начинали переживать такое же любовное настроение. Являлась даже мысль, что как хорошо быть сплавщиком, а все остальное пустяки...

Помню чудную майскую ночь, когда мы, обеспеченные шубами сплавщика, дольше обыкновенного засиделись на верхней палубе. Кама в разлив – безбрежное море, и эта иллюзия нарушалась только вершинами выступающих из воды деревьев. В таком просторе есть что-то такое бодрое и зовущее, точно самая мысль окрыляется. Где-то распевали наши камские соловьи, притаившиеся в ивняка затонувших островов. За Урал соловьи не перелетают, да и здесь они поют так несмело, точно все только пробуют разные мотивы и не могут никак попасть в настоящий тон. Это совсем не то что настоящие южные соловьи, от поцелуев которых стонут южные ночи, – это именно поцелуй, а не щелканье, как называют призывную соловьиную

трель. Траурная хвойная растительность тоже говорила о своем родном севере с его строгими готическими линиями. Не было и белых волжских отмелей, – их сменила камская красная глина. Но все-таки эти камские ночи хороши и навевают такое бодрое, хорошее настроение.

– Вот как она, наша матушка, разлилась, – любовно повторил старик, присматривая из-под руки серебрившуюся от месячного света водяную гладь. – Весна ноне выпала дружная... Вода и занялась; сила силой. И куда только это вода уходит?

– В море, как из всех других рек.

– А из моря куда?

– В океан.

– А из окиян-моря?

Когда дело дошло до испарения воды из океана, наш сплавщик уперся и не захотел понимать ни за что такой простой вещи, какую знает каждый гимназист второго класса. Как мы ему ни толковали, как ни объясняли, богатырь не мог согласиться, что из паров могут образоваться облака и т. д.

– Вода назад идет под землю, – утверждал

он. – А потом из земли ключами и выбивается... Где ни копни, всегда до воды докопаешься. На что камень – и из того вода бежит, а откуда ей в камне взяться? По-вашему, все это просто: тут тебе вода, тут земля, тут пар... А оно надумаешься. Земля одно любит, вода – другое.

Оказалось, что мы заговорили на двух различных языках и перестали понимать друг друга. Это огорчало обе стороны, и умный старик с удивлением смотрел на нас, как это мы не можем понять таких простых и всем понятных вещей.

– Вот теперь я сплавщик, – старался он объяснить нам какую-то затаенную мужицкую мысль. – Так я говорю? Сгоню одну беляну – вот тебе сотельный билет, клади в карман. Сгоню другую – другой билет... А в лето-то я их штук пять, сотельных-то, и залобую. Правильно я говорю? Хорошо... Теперь взять опять так: в деревне у меня родитель, древний старичок, и я его должен воспитывать. Так? Ему уж на девятый десяток перевалило... Вот я прибегу домой на пароходе и прямо старичку: на, тятенька, получай! Так? Старичку

уважение... В деревне пять-то сотельных билетов богатство, не прожить... Хорошо. Кажется, лежи бы ты на печи да ешь калачи, потому сплавщики мы из роду в род, родовичи. Живем справно, ничем не обижены от господа бога... Хорошо... Так получу я свои сотельные билеты, принесу их своему старичку, а старичок примет их и вместо благодарности каждый раз скажет: «Никита, землю помни... Деньги как скворцы: сегодня прилетели, покружились, а завтра улетели – только их и видел. Помни землю – вот тебе мой родительский наказ. Это от дедов всем нам хрестьянам заказано, а как нарушишь дедовщину – то тут тебе и погинуть». Вот как со мной старичок-то поговаривает, а у меня у самого внучат по лавкам бегают... Правильный это разговор, господа вы мои скубенты? Ведь я за один сотельный билет двоих таких работников, как сам, найму, а тут должен своими руками да за соху – деньги у старичка, а я в поле обихаживаю, потому в силе человек и должен все правильно. Главная причина: родительское благословение... У нас вся семья правильная, и нет этого заведения, чтобы против

родителей.

В этих объяснениях было много понятного, но все хорошее, весь смысл вычеркивался «родительским благословением». Этот крестьянский труд вершился по какой-то мертвой формуле, не освещаясь сознанием. Тот же сплавщик Никита не бросал землю и тяжелый крестьянский труд только из рабского повиновения родительской воле, — он являлся слепой силой, а не разумным тружеником. Чувствовалось вообще что-то темное и стихийное, в котором, как ребенок в пеленках, была завернута основная мысль нашего богатыря. Вся эта сцена происходила в начале семидесятых годов, когда еще не вошли в ежедневный обиход такие всеобъясняющие слова, как «власть земли»; представление о народе являлось слишком отвлеченным, неясным и расплывавшимся. Одним словом, нам пришлось долго биться с этим «сыном народа», пока уяснился истинный смысл его мирозерцания. Вместо того чтобы спать под его тупами, мы поспорили за полночь, а утром продолжали тот же разговор. Нужно было видеть взаимную радость, когда начало уста-

навливаться взаимное понимание сторон. Около нас образовалась даже толпа слушателей.

– Ты – барин, у тебя жалованье, – выкрикивал сплавщик, с азартом размахивая руками, а я хрестьянин, у меня земля. Меня родители землей благословили, тебя жалованьем...

– А которое лучше? – спрашивал кто-то в толпе.

– Земля лучше, потому она, первое, никуда не уйдет сама да и тебя не пустит, ежели ты правильный человек. А кто из хрестьян свернулся и пошел искать легкого житья, тот уж пропадет, как он ни вертись, как себя ни утешай: и сапоги со скрипом заведет, и гармонию, и по трактирам, одним словом, места человек не находит.

Общественное мнение публики третьего класса было на стороне сплавщика. Подогретый общим вниманием и сочувствием, старик разошелся окончательно. Оказалось, что родительское благословение, как алгебраическая формула, служило только выражением целого порядка мыслей, концентрировавшихся здесь, как в своего рода фокусе, и что здесь

больше цельности, логических связей и живых понятий, чем в пестром репертуаре наших вычитанных из книжек мыслей.

II

Мы были в восторге от нашего сплавщика, хотя и понимали его только вполовину, настолько, насколько в его словах сказывалась органическая связь вот с этой серенькой природой, землей и могучей рекой. Получалось цельное впечатление, оставлявшее за собой в душе один из тех незримых следов, из каких складывается цельное и живое мирозерцание.

В числе публики, слушавшей наши разговоры, был один худенький старичок из «растейских», – это последнее сейчас было заметно по его шляпе-гречневику, белой холщовой рубаше с красными ластовицами и особенно по лаптям. Урал и Сибирь не знают лаптей, что объясняют богатством населения, а вернее объяснить недостатком липы. Этот старичок все время держался особняком и больше слушал. Только раз он изменил себе и вызвал сплавщика Никиту на разговор.

– Уфимские будете? – спрашивал он сплав-

щика, поглаживая свою бородку клинышком.

– Уфимские, значит, с Белой...

– Та-ак...

Худенький старичок как-то сразу оживился и ближе придвинулся к Никите. Его карие узенькие глаза усиленно заморгали, а гречневик съехал на затылок.

– А как у вас насчет земли?.. – почти шепотом спрашивал он, потирая заскорузлые руки с корявыми пальцами, походившими на су-чья.

– Насчет земли? А сколько угодно... – хвастливо отвечал Никита, глядя на тщедушного старика сверху. – Своей не хватило – бери у башкир... Ренда у нас – двугривенный с десятины, это, значит, башкирам платим. Лесу неочерпаемое множество – тоже получай... А ты, дедушка, из расейских, видно, приходишься?

– Около того, милый человек... Тамбовской губернии мы пишемся.

– Куды же ты бежишь с нами на пароходе?..

– А так, по своему делу...

– В Сибирь?.. Может, к сродственникам ка-

ким?.. Со всех сторон гонят туда народ.

– Это ты насчет ресторантов? Нет, Пока господь миловал: никого у нас в роду не случилось, чтобы в рестораны... проносит господь-батюшка... Нет, не случилось.

– Что же, дедушка, все под богом ходим: от тюрьмы да от сумы не отказывайся... Уж это кому какие счастья.

– Нет, господь миловал, а я по своему делу...

Тамбовский мужик оказался ходоком, одним из тех безвестных пионеров, которые в начале семидесятых годов «обыскивали» Сибирь, прокладывая широкий путь последующему переселенческому движению. Богатырь Никита обрадовался своему брату-мужику, чтобы поговорить и с ним на свои излюбленные темы о земле, о крестьянской работе, о всех распорядках и свычаях далекой крепостной Расеи. Но старичок, по-видимому, уклонялся от настоящего душевного разговора и только как-то весь ежился.

– Вот вы все расейские такие: точно вас ушибло, – шутил над ним Никита. – От тесноты это у вас...

– Есть тесноты – это точно... – бормотал старичок, передвигая свой гречневик с одного уха на другое. – Господские мы были, так как тесноте не быть... обыкновенно... За барином жили, неколи было расширяться-то.

– Так ты насчет земли хочешь промыслить? – допрашивал Никита. – Правильно...

– Так, по своему делу, – уклончиво бормотал ходок, точно стыдился, что слишком уж разболтался перед чужим человеком.

Лично меня этот тамбовский старик заинтересовал своей особенной мужицкой выдержкой. Вглядываясь в него, каждый чувствовал присутствие чего-то особенного, что он нес с собой так бережно, как святыню. Эти расейские лапти, домашнего холста белая рубаха и гречневик прикрывали именно то, чего недоставало выростковым сапогам, ситцевой рубахе и бараньим шубам нашего сплавщика Никиты. Ходок не стыдился своей мужицкой бедноты и не щеголял ею, а к тутому богатству Никиты относился совершенно равнодушно. Замечательно было то, что, когда этот тщедушный старичок подходил к нам, богатырь Никита как будто заминался в сво-

их речах. Простая публика третьего класса тоже поглядывала на него, точно ожидая какого-то мудреного слова, но старичок упорно молчал и только угнетенно вздыхал.

– Правильно я говорю, дедушка, по-нашему, по-хрестьянскому? – не один раз спрашивал Никита, видимо встревоженный молчаливым присутствием ходока.

– Известно, правильно, – равнодушно соглашался дедушка и опять улыбался. – Все правильно, милый человек... как следует...

Между этими мужиками народилась и вырастала какая-то невидимая рознь, которая чувствовалась, а не поддавалась словесному определению... Получалось что-то неладное, скрытое и недосказанное; что заметно раздражало Никиту. Кажется, чем мог помешать ему безобидный тамбовский мужичонка, а между тем Никиту так и корбило, когда тот улыбался в свою бородку клинышком.

В Пьяном Бору, где высаживались пассажиры, ехавшие на Уфу, мы распростились с нашим сплавщиком. Он взвалил на свои могучие плечи два громадных мешка, захватил шубы и превратился в целую копну.

– Ну, не поминайте лихом, господа вы мои скубенты, – прощался он, выставляя голову из своих шуб. – Может, что и лишнее сказал, так не обессудьте на нашей простоте...

Пароход причалил к маленькой пристани. Публика столпилась у правого борта, а в том числе и тамбовский ходок. Когда пароход остановился и публика хлынула к сходням, сплавщик Никита протянул руку ходоку и проговорил:

– Ну, дедушка, счастливой дороги...

– Спасибо, милый человек.

Никита постоял, тряхнул своими мешками и шубами и проговорила

– А ведь я правильно говорил... а?.. Насчет крестьянства то есть.

– Правильно-то правильно, да только оно тово... – замялся старичок и неожиданно прибавил: – Глупый ты человек, Никита, хоша ты и в сапогах и три шубы у тебя...

Произошла немая сцена. Сплавщик заметно смутился, а мы положительно были обижены за него.

– Пустой человек, и больше ничего, – задумчиво повторил старик, не обращаясь, соб-

ственно, ни к кому. – И правильные слова говорил все время, а все-таки пустой...

– Да почему пустой? – приставал к нему кто-то из студентов, – Это не доказательство: пустой, пустой... Про всякого так можно сказать.

– А как, по-вашему, хорошо это правильные-то слова зря разговаривать? – заговорил ходок уже с азартом. – У меня вот за пазухой, может, тыщи рублей, так я и пойду на пароходе показывать их всякому: на, мол, смотри, сколько у меня денег... Деньги-то останутся деньгами, а меня каждый дураком назовет. Так и у сплавщика: как бы настоящий человек он был, так не стал бы зря правильные слова свои болтать... Тоже слово-то к месту говорится.

Помню, какое оглушающее впечатление эти простые слова произвели на всех окружающих, а наш сплавщик вдруг сделался точно меньше. Теперь вся публика была уже на стороне тамбовского лапотника, – это была простая, серая публика, не привыкшая к праздной болтовне. Здесь еще жила вера в слово, в живое и могучее слово, которое нельзя бро-

сать на ветер, потому что оно кровно срослось со своим внутренним содержанием. Сколько раз впоследствии мне приходилось вспоминать эту сцену: так много у нас на Руси говорится хороших и правильных слов совершенно праздно и не к месту...

1899

На большой дороге

I

Когда из окна я смотрю на Невский, мною овладевает странное чувство: мне начинает казаться, что все, что находится в поле зрения, как будто не настоящее. И эти пятиэтажные дома, и торцовая мостовая, и электрические фонари, и мчащиеся щегольские экипажи, и специальная публика Невского проспекта – все это как будто сделано из папье-маше или по крайней мере нарисовано. То же самое чувство недоверия преследует меня, когда приходится ехать по железной дороге или на пароходе, с прибавкой того, что я сам вступаю в бутафорские принадлежности этого ненастоящего и притом как будто поль-

зуюсь чем-то чужим, какой-то незаслуженной привилегией и занимаю чье-то чужое место. Это болезненное чувство положительно преследует меня и каждый раз вызывает противоположный ряд картин. Ведь настоящая деревянная Русь сейчас тонет в непролазной исторической грязи, настоящий русский человек делает свою историю по жалким лачугам, а для передвижения пользуется самыми первобытными средствами. Показное щегольство и казенная роскошь столиц, железных дорог и пароходов решительно ничем не связаны вот с этой настоящей деревянной Россией, настоящей серенькой, бедной и скучной русской жизнью и ее захудалыми ветхими способами и самодельными средствами передвижения. Кажется, что если что-то такое убрать, вынуть какие-то невидимые подпорки – и блестящие декорации падут сами собой, как в балаганной феерии, где за картонными стенами роскошных дворцов балаганные принцессы колеют от холода и напрасно мечтают о самом простом кусочке хлеба.

Я уже оговорился, что все это – область личного болезненного чувства, а его продолжени-

ем является то, что самим собой я себя чувствую только на убогом русском просторе, среди простого русского народа и особенно в дороге, где-нибудь на глухом тракте или на проселке. В вагоне железной дороги и в паровой каюте чувствуешь себя частью какого-то живого багажа, до известной степени казенной вещью, за повреждение и порчу которых кто-то и где-то должен отвечать. Эта относительная и тоже показная безопасность выкупается тем гнетом, который вы несете и в форме билета, и в лице контролера, и даже в этих пугающих с непривычки свистках, звонках и других понудительных средствах, напоминающих вам о вашей казенной неволе. Меня каждый раз охватывает какое-то молчаливое озлобление, и я с тоскою начинаю думать о бесконечных путешествиях по проселкам и трактам, где чувствуешь себя прежде всего свободным человеком и самим собой. Хочу – еду, хочу – нет. А как хорошо думается, когда сидишь в дорожном экипаже и грезишь под перезвон дорожного колокольчика, убаюканный мерным покачиванием! Я не могу вообще видеть равнодушно дорожно-

го экипажа, с которым связано лично для меня столько специально дорожной поэзии и разных воспоминаний. Сколько дорожных встреч, разговоров, интересных лиц!

Живя на Урале, я особенно любил поездки на юг от Екатеринбурга, по так называемому Челябинскому тракту. Отъедешь каких-нибудь сто верст, а картина уже совсем другая. Небо точно делается выше, горизонт раздвигается, и начинаешь чувствовать близость благословенной Башкирии, этой поистине текущей млеком и медом страны, по беспощадной исторической русской логике схоронившей в себе вопиющую башкирскую нищету. Справа громоздятся синими контурами лесные горы, слева стелется распаханная степь; кой-где мелькают степные озера, точно громадные окна. Здесь уже другие контуры, чем на севере, линии мягче, и самое солнце светит и греет как-то по-другому, любовно и мягко, так что начинаешь чувствовать себя и лучше, и добрее, и покойнее. Легче дышится, легче думается, и хочется ехать без конца, чтобы не потерять этого хорошего настроения. Но одна из моих последних поездок по

этому тракту была совершенно отравлена благодаря случайному спутнику, ехавшему на кумыс. Это был молодой инженер, аккуратный, выдержанный и корректный до последней степени. Как мне казалось, он был болен не чахоткой, а просто мучился от мнительности. Звали его Василием Ивановичем. Худенький, нервный, ядовитый, он производил впечатление столичного заморыша, убивавшего себя неуклонным стремлением к большой карьере. А тут нервы не выдержали, с сердцем что-то такое делается, бессонница – вообще вся машинка испортилась! Меня лично этот Василий Иванович возмущал именно своей корректностью: все у него было размерено, взвешено и предусмотрено до мельчайших подробностей, начиная с приспособленного для дороги летнего костюмчика и кончая какими-то таинственными рецептами, которые он прочитывал время от времени, и что-то такое отмечал в своей записной книжке.

Но больше всего Василий Иванович возмущал меня разговорами о питании собственной особы. Это было уже что-то решительно

невозможное. О чем бы речь ни шла, в конце концов она все-таки сводилась на питание Василия Ивановича.

– А я сегодня, знаете, утром два яйца всмятку съел, – сообщал он таким тоном, точно это было величайшим секретом. – Да... А потом целых две унции мясного порошка, три стакана молока и целую галету, приготовленную по способу одного венского профессора. Не правда ли, достаточно?

– О, совершенно...

– А как вы думаете, когда мы приедем на станцию, могу я съесть еще два яйца, унцию порошка и три стакана молока?

– Право, не знаю. Все зависит, конечно, от аппетита...

– Да? А вечером я опять два яйца, унцию порошка и три стакана молока... Ведь это составит в течение дня целых десять унций мясного порошка, десятков яиц и четыре бутылки молока. Как вы думаете, это достаточно? Я начал с трех унций мясного порошка и трех яиц, а теперь довел себя до десяти. Если буду ежедневно прибавлять по одному золотнику, ведь это в месяц составит уже тридцать

золотников, да еще тридцать яиц, да тридцать стаканов молока, а следовательно, должно получиться соответствующее увеличение веса.

– Несомненно...

– Послушайте, вы говорите таким тоном, точно обижаетесь и соглашаетесь со мной только из вежливости. Я понимаю, что наедаю своими разговорами о питании, но ведь нормальное питание – все... Возьмите, обратную картину, то есть начните убавлять систематически количество порошка, яиц и молока – что будет?

– Человек умрет.

– Нет, я не довожу до такой крайности, я только хочу сказать, что он неизбежно должен потерять в весе. Знаете, нынешняя медицина вся построена на питании, и проверить его можно только весом съеденного и параллельным весом тела. Результаты поразительные... Вы, конечно, взвешиваетесь систематически?

– Не случалось...

Василий Иванович приходил в священный ужас от такого невежества, а потом делал за-

ключение, что я просто хитрю.

– Да, я недавно читал в газетах известие, что один итальянский врач изобрел какие-то питательные ванны, но русские врачи ничего не знают об этом, к кому я ни обращался. Самая возмутительная косность... У нас всегда так, все задним числом. За границей изобретут что-нибудь новое, а мы только еще откроем питательные ванны... Вы ничего не читали по этому вопросу?

– Нет...

– Послушайте, вы просто шутите и мистифицируете меня... А я всякое такое известие вырезаю из газеты и наклеиваю в особую книжку, а к концу года делаю сводку. Приходится поневоле следить за всем самому. Кажется, что проще как пить молоко, а между тем оказывается то, да не то. Если вы выпьете залпом стакан молока – результат один, а если будете пить маленькими глоточками и заедать каждый глоток маленьким кусочком белого сухого хлеба – совсем другое. Или как есть яйцо – всмятку или крутое, об этом существует целая литература.

И так без конца, до изнеможения. Пита-

тельный разговор заканчивался только ввиду станции, когда Василий Иванович умолкал, охваченный страхом за исход предстоящего опыта питания. Он мучился молча и старался дышать носом, что имело тоже какое-то отношение к питанию.

В конце концов я чувствовал, что начинаю ненавидеть этого белокурого молодого человека, ненавидеть как-то органически и совершенно несправедливо. Нравится, ну и пусть питается, – чего проще, а между тем я возненавидел даже самое слово «питание». Право, лучше уж умереть, чем влачить такое жалкое существование. На станции Василий Иванович приходил в возбужденное состояние по другому поводу. Он страшно боялся всякой заразы, и в его воображении носились целые тучи бактерий, бацилл, кокков, микрококков и холерных запятых. Он сначала не решался войти на станцию, потом входил с таким видом, как приговоренный к смерти идет на эшафот, затем следовало обнюхивание воздуха, насыщенного бактериями, мытье стола, чайного стакана, горшка с молоком. Было жаль смотреть на этого мученика питания и гигиены. Я

потихоньку злорадствовал, наслаждаясь этими муками моего мучителя, и даже рассказывал разные удивительные случаи заражения сибирской язвой как неизбежной принадлежностью вот таких сибирских трактов. Бедняга бледнел от страха и смотрел на меня умоляющими глазами.

К концу этого несчастного дорожного дня мои страдания достигли апогея, и я самым невежливым образом не отвечал на вопросы, притворяясь рассеянным. А потом у меня явилась надежда на близившийся ночлег. Ведь Василий Иваныч когда-нибудь уснет же...

Спускались уже летние сумерки. В воздухе стояла какая-то удушливая мгла. Небо было совсем чисто, и хотя одно бы облачко обещало прохладу. А как хорошо, когда быстрый летний дождь спрыснет все кругом, и оплодотворенная степь точно закурится ароматом своих цветов, трав и маленьких кустиков степной березы, тальников и вербы. Нам предстояло ночевать в Куяше, большом селе, рассыпавшем свои домики по берегу красивого степного озера. Вот уже вдали приветливо глянули первые огоньки, а неутомонные де-

ревенские собаки подняли предупреждающий лай. Мысль о кипящем самоваре и деревенской яичнице-чиловке заслоняла все. Хорошо отдохнуть с дороги... Но Василий Иванович ввиду ночлега принял особенно озабоченный вид и отнесся к почтовой станции с особенной строгостью. Говоря проще, он капризничал.

– Что же мы будем делать? – спрашивал он чуть не со слезами.

– Право, не знаю. Как хотите...

– Что же я могу хотеть? Я не желаю задохнуться в этом клоповнике.

– Как хотите, Василий Иванович. Можно ехать на постоялый двор...

Это был все-таки выход.

– Кучер, ты, пожалуйста, свези нас на самый лучший постоялый двор, – умолял Василий Иванович. – Я тебе дам на водку...

– Отчего же не свезти, барин?.. Вот тут у Ивана Митрича вот как хорошо. Дом совсем новый... мужик вообще обстоятельный, то есть Иван Митрич совсем трезвый мужик.

Постоялый двор Ивана Митрича до некоторой степени оправдал эту лестную рекоменда-

дацию, особенно снаружи. Новая пятистенная изба точно сама приглашала войти. Василий Иваныч повеселел, особенно когда мы очутились на чистой половине, где пол был устлан домашней работы половиками и все было новенькое. Огорчали, конечно, мухи, но с этим неизбежным злом приходилось мириться. Сам Иван Митрич, тощий черноватый мужик с длинным носом, смахивал на городского мещанина и щеголял в жилете, поверх которого была распущена серебряная цепочка.

– Отлично, отлично... – бормотал Василий Иваныч, подозрительно осматривая стены. – А клопы у вас есть?

– Уж будьте спокойны, господин... Проезжающие господа весьма одобряют.

– А блохи?

– Будьте спокойны... Вот в этой самой комнате проезжающая генеральша останавливалась и тоже одобряла. В другой раз, грит, нарочно приеду.

Самовар имел очень солидный вид, яйца и молоко свежие, одним словом, все отлично. Василий Иваныч методически съел все, что ему полагалось, – это была в собственном

смысле не еда, а скорее заряд какого-то мудреного орудия. В избе сделалось жарко, и Василий Иванович даже позволил себе раздеться, причем получил самый жалкий вид. Здоровенная деревенская баба, подававшая ведерный самовар, посмотрела на него с сожалением, как на котенка.

– Знаете что? – шепотом сообщил мне Василий Иванович. – Я ведь целых пол-унции лишних мясного порошка съел... Будто невзначай!

Он как-то по-детски хихикнул от радости, что обманул себя, и даже сделал какое-то антраша тоненькими ножками-лутошками.

II

Я предпочел ночевать на свежем воздухе, в экипаже. Не могу не сказать несколько благодарных слов об этом удивительном сооружении, которое называется сибирским тарантасом, тем более что оно, вероятно, в недалеком будущем отойдет в область предания. Представьте себе экипаж, в котором вы можете вытянуться во весь рост, как на собственной кровати, экипаж, который защищает ваши бока от самых отчаянных толчков, эки-

паж, в котором помещается до двадцати пудов клади, – одним словом, целый дом на четырех колесах, приспособленный к тысячеверстным путешествиям по грунтовым трактам. С проведением железных дорог, конечно, тарантас мало-помалу совсем исчезнет из обихода, и мне вперед делается его жаль, как жаль, когда разорят родное гнездо.

Летняя ночь выдалась теплая, что так редко бывает на Урале. Где-то сонно лаяли деревенские собаки, пронесся испуганный топот овечьих ног, и опять тихо-тихо, как это бывает только ночью в деревне. Я быстро заснул, как спится только в дороге. Но это блаженное состояние было неожиданно нарушено. Я проснулся от страшного шума и в первое мгновение решительно не мог сообразить, где я и что такое делается кругом.

– Эй, братаны, откатывай барина!..

Какие-то невидимые руки подхватили мой тарантас и подкатали его к амбару. Весь громадный двор был запружен возами, лошадиными головами, суетившейся обозной ямщицей, в раскрытые ворота один за другим грузно вкатывались новые возы, которым не бы-

ло конца. Я насчитал до тридцати и бросил. Это был обоз, настоящий сибирский обоз, сохранившийся в полной неприкосновенности доброго старого времени. Кричали ямщики, ржали лошади, скрипели колеса, – одним словом, что-то вроде великого переселения народов. Голос Ивана Митрича попеременно раздавался во всех концах двора, под громадным навесом и наконец исчез где-то на сеновале, откуда уже летели охапки сена. У меня первая мысль была о Василии Иваныче, который, наверно, страшно перепугается этого нашествия, – он вообще боялся всего большого, всякого проявления грубой силы, а тут ввалится в избу настоящая орда.

– Милостивый государь, нельзя ли воспользоваться спичкой? – послышался из темноты голос, видимо обращенный ко мне.

– С удовольствием...

Оказалось, что в передке обозной телеги, подхваченной к самому тарантасу, помещался неизвестный пассажир, не принимавший никакого участия в общей ямщичьей суматохе. Загоревшаяся спичка осветила сначала широкополую поповскую шляпу, потом бо-

родку мочального цвета, скуластое лицо, мягкий русский нос и застенчиво улыбавшиеся маленькие серые глазки. Раскурив папиросу, неизвестный улыбнулся по моему адресу и, держа догоревшую спичку на отлет, проговорил;

– Отличная погода.

– Да. А вы так и путешествуете на облучке?

– Помилуйте, да это одна прелесть... Вы только обратите внимание на тюменскую нашу телегу; не телега, а угодница. Она вся точно живая...

– Ну, знаете, эта угодница тоже на охотника.

– О нет, совершенно напрасно! Даже весьма удобно... Вон, посмотрите, как я отлично устроился: вот подушка, под себя сенца положил и сплю.

– А ноги болтаются наруже.

– Привычка-с... Я даже могу спать, как и другие ямщики. Чего же еще нужно?

Наступила пауза. Кругом нас происходила такая суматоха, точно на пожаре. Устанавливали возы, распрягали лошадей, ругались и просто орали. Фонарь Ивана Митрича уже

был в амбаре, где шла выдача мерок овса. Где-то подрались лошади. Мой неизвестный сосед продолжал сидеть на своем облучке, попыхи-вая папиросой и болтая ногами.

– А ведь ежели серьезно разобрать, так вот такая тюменская телега – идеальное произведение, – заговорил он, продолжая прежний разговор. – Если бы собрать всех инженеров, какие только существуют на белом свете, то ничего лучшего и не придумать.

– Это вы, может быть, из патриотизма?

– Совсем нет... Во-первых, она легка на ходу. Обратите внимание, как поставлены колеса: заднее с передним почти совсем сходятся, а в этом большой секрет. Чем дальше колеса, тем тяжелее ход. Затем, кузов поставлен так, что кладь всей тяжестью упирается в передок, – тоже своего рода закон, по которому бревно по реке плывет комлем вперед. А как она легко поворачивается на своем деревянном ходу, – ведь все деревянное, кроме курка да шин. Во-вторых, такая телега баснословно дешева – всего девять-десять рублей. В-третьих, она сделана так, что ее, в случае поломки, может починить каждый ямщик, а это

главное. Наконец, она так приспособлена ко всем условиям грунтового тракта, что дает самое большое количество работы, – вот хоть моя, дойдет она и до Иркутска и обратно вернется. Знаете, здесь удуман каждый клинышек, каждая спица, это произведение целого народа, как песня... Она соответствует всему складу нашей бедной жизни, и ничем другим ее не замените, даже когда пройдет через всю Сибирь чугунка. Железная дорога все-таки нам чужая, а как все чужое – дорога.

По этим рассуждениям я имел полное основание догадаться, что имею дело с провинциальным интеллигентом.

– Вы учитель? – спросил я.

– Нет... Впрочем, это все равно: моя жена учительница. А я служил... Господи, где только я не служил! Был писцом в окружном суде, потом в земстве, потом на золотых промыслах, потом у одного кулака-мучника, потом на пароходе, потом в библиотеке.

– Извините нескромный вопрос: что заставляло вас так часто менять профессию?

– Как вам сказать... Характер у меня покладистый, работать я привык, а все дело в том,

что труд имеет смысл ведь только тогда, когда он по душе.

Завязавшийся по этому поводу разговор был прерван с крыльца:

– Александра Василич, голубь сизокрылый, где ты?

– А здесь, Мосей Павлыч...

– Подь сюды... Мужики ужинать садятся, так и ты заодно.

– Нет, спасибо. Я сыт...

– Да перестань кочевряжиться, милаш... Брюхо не веркало, а тут горяченького похлебаешь, ученый ты человек.

– Я уж поел, Мосей Павлыч...

– Ах ты, Александра Василич... Сказано тебе: мужики садятся. На миру и ты поешь... Да иди же, мил человек! Мирское дело.

Аргентский обратился уже ко мне:

– Пойдемте в самом деле. Вы посмотрите, как ямщик ест. Если не видали, так даже очень интересно.

Мне пришлось только согласиться, потому что меня заботила судьба Василия Ивановича. Что-то с ним теперь делается?

– Иде-ем! – крикнул Аргентский, вылезая

из передка.

– Давно бы так-то!..

На крыльце стоял ямщицкий староста, рыжебородый толстый мужик с лукавыми рысьими глазками. Он был в одной красной кушачной рубахе и вытирал потное лицо рукавом. Он фамильярно потрепал Аргентского по плечу и проговорил, подмигнув:

– Ах, андел ты мой, может, мы скляночку водочки раздавим? Робята уж полуштоф росчали...

– Не пью, Мосей Павлыч, вы знаете.

Мой новый знакомый был небольшого роста, но широкий в кости. Спина была сутулая, а руки несоразмерно длинные, точно они были взяты на подержание от кого-то другого. Мне нравилась та простота, с которой он держался.

В передней избе, где стояла громадная русская печь, за двумя столами разместилось человек двадцать ямщиков. Воздух уже был пропитан запахом дегтя, капусты и какой-то рыбы, что составляло своеобразный букет.

– Ну, за который стол сядешь, Лександра Василич? – спрашивал староста, подмигивая

без всякой видимой причины.

– А ни за который, Мосей Павлыч...

– Ах ты, таракан тебя уешь... Погордишься натошак-то, а потом жалеть будешь. Ну, пойдем не то самовар пить...

– Это можно, – согласился Аргентский.

На чистой половине уже стоял ведерный самовар, ужасно походивший на ямщичьего старосту, – такой же красный и так же отдававший горячим паром. Василий Иванович не спал. Он угрюмо забился куда-то в угол и злыми глазами наблюдал все ужасы, происходившие на его глазах. Мое появление так его обрадовало, что бедняга чуть не бросился ко мне на шею, как к спасителю.

– Знаете, здесь творится что-то невозможное... – сказал он мне, делая трагический жест. – Это какой-то пещерный период...

– Именно?

– Вы видели, как они едят, эти ямщики?

– Да... А что?

– Нет, это что-то невозможное. А этот рыжий староста, – ведь это какой-то гиппопотам... Знаете, сколько он выпивает чаю? Двадцать стаканов. И кроме того пьет водку и

чем-то заедает ее. Да вы посмотрите на всю эту зоологию...

Староста усадил Аргентского к самовару, выпил стаканчик водки и укоризненно покачал головой:

– Ах, Лександра Василич, разве это порядок, голубь сизокрылый?

– У меня порядок...

Дело в том, что Аргентский принес с собой узелок, в котором оказались черствые крендели и черный ржаной хлеб. Он разложил свою закуску на столе и не торопясь принялся за чай.

– Это ты теперь третьи сутки всухомятку жуешь? – корил староста, разглаживая рыжую бороду. – Какой же ты человек будешь, ежели у тебя провиант одни корочки?.. Лошадь не кормить, и та встанет.

– Ничего, проживем, – с улыбкой отвечал Аргентский. – В случай и поработать можем...

– Из гордости ты, Лександра Василич, не хочешь нашей пищи принимать, – корил староста.

– Не из гордости, а потому, что даром вашу пищу я не хочу принимать, а платить пятиал-

тынный накладно. Прохарчишься как раз. Да и деньги нужны. Перебьюсь как-нибудь...

– Небось деньги-то жене везешь?

– Есть и такой грех... Вы на работе и можете есть, а я без места, ну, значит, и попошусь малым делом.

Я только теперь обратил внимание на выражение лица своего нового знакомого. По всему было заметно, что он постился уже немало, обманывая аппетит своими корочками. Это было заметно по выражению глаз, а особенно чувствовалось в складе широкого рта. Да, постился хорошо, выдержанно, не поддаваясь на соблазны даже ямщичьей еды. Чем больше я смотрел на это простое лицо, тем оно больше мне нравилось.

– Не предложить ли нам ему чего-нибудь? – шепотом спрашивал меня Василий Иванович. – У меня есть английские консервы из дичи... потом есть телятина.

– Ничего из этого не выйдет, Василий Иванович. Видите, он уже отказался раз... Вон предложите старосте своего мясного порошку.

Василий Иванович даже рассердился на меня и замолчал. Он вообще находился в воз-

бужденном состоянии и несколько раз подходил к двери, приотворял ее и долго наблюдал, как ямщики ужинали.

– Сначала съели пирог с рыбой, – сообщил он мне, отгибая пальцы. – Потом была подана уха из карасей... потом подали кашу, такую крутую, что ложка стоит, а кашу залили зеленым конопляным маслом... Это ужасно! Нормальный человек просто может умереть от одного такого ужина.

III

День был постный, и разбитная хозяйка, подавая новое кушанье, приговаривала с заказной ласковостью:

– Уж не обессудьте, миленькие... Кабы не постный день, так и штец бы подала, и баранинки, и молочка.

Я вошел в избу, когда «миленькие» ели уже четвертую перемену – перед ними на деревянных тарелках лежала какая-то жареная рыба. Вилки не полагалось, и ели прямо руками, вытирая замаслившиеся пальцы прямо о волосы. Кое-где начинали слышаться тяжелые вздохи и самая откровенная икота. Деревянный жбан о кислым деревенским квасом

переходил из рук в руки. Василий Иванович на-
смелился и вышел вместе со мной.

– Неужели они и это все съедят? – с ка-
ким-то ужасом спрашивал он меня. – Ведь это
какой-то пир богатырей...

Бедный столичный заморыш с каким-то
ужасом смотрел на потные красные лица ям-
щиков, на их закрывавшиеся от жвачного пе-
реутомления глаза и даже вздрагивал, когда
раздавался чей-нибудь широкий вздох, точно
по пути могли съесть его, Василия Ивановича.
Но на пятую перемену подан был еще пирог,
на этот раз с солеными грибами. Пирог сде-
лан был из пшеничного теста, как и все
остальное: ржаной хлеб в Зауралье очень ред-
ко употребляется, разве только самыми бед-
ными семьями, откуда и называют заураль-
ских мужиков пшеничниками. После пирога
последовала жареная картошка. Василий
Иваныч после каждой перемены таинствен-
но исчезал в свою комнату и возвращался
каждый раз веселее и веселее.

– Знаете, такое зрелище возбуждает аппе-
тит, – сознался он наконец. – Я после каждой
перемены съедаю по ложечке мясного порош-

ка... Итого теперь пять ложечек, а это составляет пол-унции.

Василий Иванович даже толкнул меня локтем в бок, – дескать, каково я желудок-то свой надуваю.

А ямщики все продолжали есть. Я уже потерял счет переменам, пока дело не закончилось каким-то пирогом с изюмом. По счету ложечек у Василия Ивановича выходило девять перемен. Много приходилось мне видеть, как хорошо едят, но такой еды наблюдать не случалось. Это было уже что-то действительно гомерическое. Ямщики не переставали есть, а в буквальном смысле отваливались от еды. В дверях стоял Аргентский и улыбающимися глазами наблюдал вспотевшую, покрасневшую и неистово икавшую ямщину. Издали этих плотно поужинавших людей можно было принять за пьяных.

– Ну что, видели, как наши ямщики питаются? – спрашивал Аргентский.

– Да, вообще... – бормотал Василий Иванович, похлопывая ручками. – Знаете, господа, не съедим ли и мы чего-нибудь, а? Право... У меня, кажется, есть аппетит. Да... Хозяюшка,

поставьте нам самоварчик...

– А для чего и не поставить, – ответила здоровенная стряпуха, вся красная от натуги. – Вот только Мосей-то Павлыч кончит...

Староста еще продолжал «чаевать». Он не мог уже есть простую мужицкую пищу и наливал себя чаем. Ворот рубахи был расстегнут, волосы на лбу прилипли, по лицу пот капался ручьями – одним словом, человек наслаждался вполне.

– Полюбопытничали, господа, насчет нашей ямщичьей еды? – спрашивал он нас, стараясь быть любезным. – Эх, Лександра Василич, право, напрасно ты брезгуешь миром... На артели-то что стоит одного прокормить. Самое это пустое дело.

– Ничего, не помру...

– А ведь вы хотите есть? да? – пристал к Аргентскому развеселившийся Василий Иванович. – С нами, надеюсь, не откажетесь?..

– Стаканчик чайку выпью... – уклончиво ответил Аргентский.

– Ну вот – один разговор, – вступился староста. – Этого самого Лександру Василича, господин – не умею, как вас назвать, – никак не

уложить, как кривое полено на поленницу. А все от гордости...

– Что же, гордость вещь хорошая, ежели к месту, – согласился Аргентский. – А я вот смотрел на ямщиков, как они едят, и пожалел...

– Н-но-о?!

– Да... Не долго уж так есть придется. Вот проведут железную дорогу, и конец ямщицкой еде...

– Ох, и не поминай ты, Лександра Василич, про эту чугунку... Для чиновников да для купцов ее налаживают, а простым народам прямо разоренье. Всем животы подведет, когда тракты отойдут... Ровно и не придумать, что только и будет. Ну, теперь хоть на последах ямщицки поедят, а потом поминать будут да деткам рассказывать. Много поезжено, сладко пито-едено...

– А ты давно в извозе? – спросил Василий Иваныч.

– Я-то? А мы природные ямщики... Скоро, пожалуй, и все полсотни годов будет, как мы-то по трактам езды ездим. Уж зараза такая: так и тянет в дорогу.

Когда наш самовар поспел и Василий Иванович достал свои консервы, Аргентский действительно отказался от ужина.

– Послушайте, это уже упрямство! – сердился Василий Иванович. – Помилуйте, я сегодня целых девять ложечек мясного порошка съел, а теперь вот еще яйца всмятку... У меня икра белужья есть. Ведь вы любите белужью икру? Доктора нашли, что икра – самая питательная вещь... К сожалению, я забыл процентный состав белковых и азотистых веществ. Советую попробовать... Впрочем, виноват, вы, может быть, вегетарианец?

– Нет... Хотя, с другой стороны, и из принципа...

– Позвольте узнать, из какого принципа?

– Из самого простого: нужно уметь себе отказать. Ведь это целое богатство, если ограничить себя до минимума... Ведь я могу прожить на сухарях одну неделю, следовательно, и нужно прожить.

– Кому же это нужно?

– Прежде всего мне самому нужно... Да. Чем меньше у меня лишних потребностей, тем я независимее. И так во всем... Ведь

жизнь складывается из мелочей, и самое трудное – выдержать себя именно в мелочах...

– Да, да... Это уже целая философия воздержания, но, к сожалению, ее исповедовать могут только люди вполне здоровые физически.

– А вы не думаете, что еще больше должны ее исповедовать больные? Ведь и болезни-то в большинстве случаев от нашей неводержанности...

– Ну, медицина говорит другое... Может быть, вы и медицины не признаете?

– Отчего не признавать медицины, но это еще не значит, что нужно во всем слепо ей повиноваться...

Василий Иванович обиделся и замолчал. Произошла довольно комичная немая сцена. Аргентский никак не мог понять, в чем дело, и несколько раз выразительно смотрел на меня. Василий Иваныч молча заваривал чай, вымыл предварительно в теплой воде яйца и с какими-то особенными церемониями спустил их в салфетке в самовар. Ведь приготовить яйца всмятку по всем правилам искусства дело не легкое, и он гордился своим уме-

ньем. Когда все было готово, Василий Иванович с торжественным видом разбил два яйца, выпустил их в стакан, прибавил мелкого сахара, тщательно все размешал, прибавил несколько капель финь-шампань и еще раз размешал. Оставалось только съесть, но, когда Василий Иванович взял сухарек, приготовленный по особому рецепту, и зачерпнул ложечкой из стакана сделанную смесь, на его лице изобразилось отчаяние, и он отодвинул стакан.

– Нет, не могу... – прошептал он, вскакивая.

Аргентский с недоумением смотрел на этого странного господина, нервно бегавшего по комнате маленькими шажками, а потом, точно сознавая какую-то вину за собой, проговорил:

– А вы бы посолили, Василий Иванович... Оно аппетитнее как будто...

– Посолить? – спрашивал Василий Иванович, делая страдальческое лицо. – Вы мне советуете посолить?! Боже мой, боже мой... Это просто какая-то насмешка! Да, да, да...

Василий Иванович подступил к самому носу Аргентского и каким-то дребезжащим голосом вызывающе допрашивал:

– Ведь у меня был аппетит? Да?
– Право, не знаю...
– Нет, вы знали... Вы видели... Я даже мечтал, что съем целых два яйца. Понимаете: два яйца...

– Что же из этого? Я, право, не понимаю...
– Вы не понимаете? Ведь вы хотите есть и только из упрямства отказываетесь... Потом вы заговорили о воздержании, как о какой-то панацее... Ведь вы говорили? Ну у меня и пропал аппетит благодаря вам... Ах, боже мой, боже мой!.. А я еще сколько любовался давеча, как ели ямщики... Ведь это что-то былинное, богатырское... Мертвый захочет есть, глядя на них. А вы с воздержанием... Вот аппетита и не стало. Да...

– Знаете, что я вам скажу, – заговорил Аргентский, поняв наконец, в чем дело. – Разве так едят, как эти ямщики?

Василий Иванович даже сел, умоляюще посмотрел на Аргентского и спросил его притихшим голосом:

– Извините, теперь уже я вас не понимаю... Как же еще можно есть?

– Я хочу сказать про настоящую еду... Дело

в том, что ямщики едят совершенно зря, как ест худая скотина. Хорошая лошадь или хорошая корова никогда много не едят, потому что у хорошей скотины хорошо приспособленный организм, перерабатывающий и усваивающий хорошо принятую пищу.

– А плохая скотина – я пользуюсь вашим выражением?

– Плохая скотина много ест и совершенно зря. Это бывает большею частью от того, что она предварительно много голодала. А как попала на хороший корм, ну и набросится. Так и ямщики. Дома, вероятно, едят так себе, а тут в обозе пища вольная, – вот он и наваливается. Количество пищи совсем не соответствует работе...

– Да, да... Это вы правильно. Пожалуйста, говорите дальше, то есть о настоящей еде. Очень, очень интересно...

– Лучшими едоками в народе считаются пильщики, потому что и работа у них самая тяжелая... Вы только представьте себе, что такой пильщик в раннего утра и до позднего вечера работает не разгибая спины, а летний день пробежит у него в пятнадцать рабочих

часов. Всякая другая работа ведется с прохладцей и с паузами, а тут даже остановок нет, Просто удивительно, как только могут выносить такую страшную работу...

– Да, да, ужасно. Но вы ничего не сказали, что едят пыльщики?

– Едят они главным образом, конечно, хлеб, а дома предпочитают всему кашу.

– А мясо?

– Ну, мясо попадает редко и то солонина, как прибавка к щам, – ведь русские настоящие щи варятся без мяса и в лучшем случае только с «забелой» из сметаны. А каша варится так, чтобы зерно не совсем разварилось – сытнее и крепче, когда оно «дойдет» уже в желудке. Едой пыльщиков действительно можно любоваться... Отрезает толстый ломоть ржаного хлеба во всю ковригу, круто посолит крупной солью и начинает есть с таким аппетитом, что действительно завидно делается.

– Вы говорите: крупной солью? Разве это питательнее?

– Вкуснее, потому что мелкая соль слишком быстро тает во рту.

Василий Иванович сразу повеселел и даже

пожал руку Аргентскому.

– Благодарю вас, вы мне подали счастливую мысль... Эй, хозяйюшка!..

Вошла краснощекая стряпка, тоже, вероятно, из былинного периода.

– Есть у вас соль? Понимаете: крупная...

– Как не быть, барин...

– Пожалуйста, принесите.

Стряпка пошла и принесла общую деревянную солонку, страшно захватанную и покрытую грязью разных исторических эпох. Можно было подумать, что ею пользовался еще честен муж Гостомысл. Василий Иваныч сморщился и с каким-то страхом заглянул внутрь солонки, точно там соль была насыщена, бактериями, кокками и микрококками. Стряпка смотрела на бари́на-заморыша с сожалением и улыбалась.

– Да вы не сумлевайтесь, барин... Червей в соли не бывает.

– Хорошо, хорошо, пожалуйста, не рассуждай, матушка.

– Что же я: соль как соль.

Василий Иваныч с большой осторожностью отгреб чайной ложечкой верхний слой

соли, сохранивший отпечатки ямщицких пальцев, и с самого дна достал щепотку.

– Такая соль? – обратился он к Аргентскому, как к специалисту.

– Да... Обыкновенная соль.

Василий Иванович приготовил два других яйца уже с солью и съел их. Это было целое событие. Он торжествующим взглядом посмотрел на нас и заметил:

– А ведь действительно оно лучше... С научной точки зрения сахар, конечно, питательнее, но я совершенно упустил из виду самое простое обстоятельство, именно, что мои предки, вероятно, употребляли очень много соли, а отсюда унаследованная привычка... Я, знаете, куплю у хозяйки всю эту солонку. Да... А потом разыщу пыльщиков... Нужно посмотреть, как они едят.

Было уже около двенадцати часов, когда я снова очутился у себя в тарантасе. Сон был «переломлен», как говорят деревенские люди, и я долго лежал с открытыми глазами. Ночная тишина нарушалась обозными лошадьми, пущенными к корму. Слышно было, как работали лошадиные челюсти, точно де-

сятки жерновов. Поужинавшие ямщики разлеглись где попало, большей частью прямо под телегами на голой земле. Аргентский поместился на передке своей телеги и жег одну папиросу за другой. Ему тоже, видимо, не спалось.

– Какой странный господин, – подумал он вслух. – Вы спите?

– Нет...

– И я тоже. Как-то даже совестно спать в такую ночь... Ведь мы целую треть жизни проводим в постели. Это просто обидно... Да, странный.

– Это вы про Василия Ивановича?

– Да... Знаете, мне его жаль.

– Он болен, то есть считает себя больным.

– Жаль... В болезнях есть своя философия. Совсем иначе мысли идут... У меня как-то было воспаление легких. Ведь какое ничтожество каждый человек, если разобрать. Достаточно хорошего насморка, чтоб и мысли явились другие, то есть настроение. А ведь туда же мечтаем, что гору повернем... И ничтожество, и вместе сила. Да, жаль, когда у человека все мысли сосредоточиваются на ка-

кой-нибудь несчастной еде, как у Василия Ивановича. Это даже и не человек, а какая-то физиология... А между тем каждый из нас может быть таким же. У него нервы не в порядке, как у нас говорят проще – не все дома.

– Около того. Пройдет на кумысе...

Аргентский широко зевнул, швырнул окурок и сейчас же заснул, точно утонул. Мне очень понравилась его здоровая жалость, – сам голодает и в то же время жалеет человека, помешавшегося на питании. Я продолжал лежать. Сверху глядели с детским любопытством мириады звезд. Мы слишком привыкли к небу и поэтому мало обращаем внимания на это вечно сверкающее чудо, на этот безбрежный океан неведомых миров, на эту тайну всяческих тайн. Что там, за теми туманными границами, которые способен различать наш глаз? Ведь в наше поле зрения едва входит какое-нибудь ничтожное туманное пятно, а таких пятен мириады, а за этими мириадами новые мириады, и наше бедное воображение отказывается от дальнейшего путешествия в эти зазвездные сферы. И тут же рядом с этой неизмеримой и безграничной

огромностью стоит внутренний мир человека, бездну призывающий и бездну отражающий. И в этих душевных глубинах тоже нет ни границ ни конца-краю, и человек не сознает, что вынашивает в душе тоже бездну, которая невидимыми нитями связуется с мириадами других бездн в прошедшем, в настоящем и в будущем. Вот хотя бы взять того же Аргентского, – еще несколько часов назад он не существовал для меня, и мне было решительно все равно, существует он или нет, а теперь я лежу и думаю о нем. Мне делается жаль его принципиальную голодовку, я думаю об его жене-учительнице, которая, вероятно, его ждет, думаю о том, как он будет хлопотать о каком-нибудь месте, тревожиться, волноваться. А там дети, которые ждут отца-кормильца, и ему будет совестно, что он не приносит корма для своих птенцов, будет совестно, что жена работает, а он только ждет работы. И таких голодных интеллигентов на Руси большие тысячи, и всех их давит вопрос о куске насущного хлеба, и все они стараются до минимума свести свои потребности, чтобы хотя в этом отношении чувствовать себя

независимыми. Да, и тут же ликует сытый негодяй, который умеет приспособляться ко всяким обстоятельствам...

Чего ни продумаешь в такую ночь! Самые простые вопросы принимают совершенно новую окраску и вызывают необыкновенные комбинации. Кажется, чего проще вопроса о хлебе насущном, в прямом смысле этого слова, а между тем как он расчленяется, нисходя до простой еды, как во вчерашнем случае, когда столкнулся столичный заморыш Василий Иваныч, с его питанием, возведенным в культ, обозная ямщина, евшая вовсю, и этот принципиально голодавший интеллигент. Под этим простым по своему существу фактом скрывались совершенно разнородные явления, точно сошлись люди с разных планет. Мне делалось как-то и тяжело и совестно, а перед глазами все стояло улыбавшееся своей застенчивой улыбкой лицо Аргентского. Мы говорили на одном языке, одними словами, но смысл получался разный. В этом добровольном голодании было проявление специфического интеллигентного подвижничества, такого простого и естественного на первый

взгляд, но вот эти обозные ямщики и тот же староста, Мосей Павлыч, больше понимали Аргентского и ближе стояли к нему, к его душевному строю, чем мы с Василием Ивановичем. Я ловил самого себя на какой-то роковой близости именно к этому последнему. Да, он помешан на своем питании, но я понимаю его больше, потому что в случае серьезного недомогания, вероятно, и сам превратился бы в такого же психопата. Получались самые обидные сопоставления и затаенная чисто русская совестливость за что-то выше сил.

Утром рано меня разбудил Василий Иванович. Он был, видимо, в прекрасном расположении духа и сообщил мне по секрету:

– Они опять едят...

– Кто?

– Ах, боже мой!.. Ямщики едят. Идите, посмотрите...

Аргентский спал в передке своей телеги, свесив ноги через грядку. Положение было самое неудобное, но он спал мертвым сном вполне здорового человека. Мы прошли мимо десятка возов, около которых дремали наевшиеся лошади. Василий Иванович почтительно

обходил их, точно смущаясь собственной физической ничтожностью.

– А я познакомился со старостой, – объяснял он на ходу. – Мужик – вор, но умная башка. Знаете, сколько они платят за свою еду? Что-то около пятиалтынного с персоны... Просто невероятно, но расчет хозяина идет на круг, то есть присоединяя к этому то, что Иван Митрич наживет на сене и овсе, на дегте и разных других мелочах. Потом сюда входит необычайная дешевизна здешнего содержания. Рыба, например, стоит что-то около 2 копеек фунт, хлеб свой и т. д.

– И все-таки за 15 копеек не накормите два раза.

– Ну, это уж их дело.

Ямщики действительно опять сидели за столом и завтракали. Были и пироги, и какая-то лапша, и неизбежная каша, и жареная рыба. Положим, что еда шла без вчерашнего аппетита, но все-таки ели по-настоящему. Староста Мосей Павлыч наливал себя чаем на чистой половине и имел сегодня мрачно-деловой вид. От вчерашнего балагурства и шуточек не осталось и следа. Видимо, что его му-

чило похмелье, а опохмелиться было совестно.

Василий Иванович уже освоился в кухне и смело заглядывал не только в чашки, а даже в печь, точно и там скрывался какой-то удивительный секрет самого рационального питания.

– А ты садись с нами, барин, – предложил старик ямщик, наблюдавший Василия Ивановича. – Отведай нашей мужицкой еды...

– Куда ему! – ответила за Василия Ивановича стряпка. – Не барин хлеб ест, а хлеб барина ест...

Раздался сдержанный смех, и Василий Иванович поспешно ретировался на чистую половину.

– Этакая дерзкая тварь! – ругался он. – Я с удовольствием ударил бы ее палкой.

– Уж и палкой, Василий Иванович... Пожалуй, еще убьете живого человека.

– Я? О, вы меня еще не знаете... Знаете, в каждом русском человеке скрыт Иван Грозный. Да, да... Разве вы не испытывали приступов совершенно беспричинной жестокости?

– Вот что, Василий Иванович, не пора ли нам

отправляться?

– Подождите, голубчик... Меня ужасно интересует, чем все это кончится.

– Запрягут лошадей и уйдут.

– А может быть, еще будут есть? Наконец, мы еще чаю не пили... Да и тот вегетарианец тоже.

– Какой вегетарианец?

– Ну, Аргентский... Он меня серьезно смутил вчера, а уж я потом догадался, в чем дело. Конечно, вегетарианец, хотя и скрывает это. А вы как бы думали? Хе-хе... У меня знакомый один инженер чуть не умер от вегетарианства и тоже все скрывался.

Староста продолжал наливать чай и очень подозрительно посматривал на нас. Потом он не выдержал и спросил:

– Господа, а вы по какой же части будете?

– Мы? А мы, значит, по своим делам, – в тон ответил Василий Иванович, чувствующий необыкновенный прилив храбрости. – Значит, своими средствами.

– Так... И тарантас ваш собственный?

– И тарантас наш.

– Очень превосходно...

Староста, видимо, не верил. Когда вошел хозяин Иван Митрич, он начал что-то шептать ему, причем Иван Митрич, в качестве практикованного человека, отрицательно мотал головой.

– Вот этак-то своими средствами... да... А тут старушку богомолку и нашли убитую на трахту... очень далее просто...

– Перестань ты, Мосей Павлыч...

– А то вот этак-то двое провозили крадено золото с промыслов... очень даже просто...

– Это, кажется, по нашему адресу? – спрашивал Василий Иваныч, понижая голос.

– Да, кажется...

А староста не унимался.

– Например, зачем я буду чужие куски считать? Али по горшкам лазить?.. Другая бы стряпка так изуважила...

Разговор принимал неприятный оборот, но к нам на выручку явился Аргентский. Он сразу осадил разговорившуюся подозрительность Мосея Павлыча.

– Перестань ты молоть, толстая борода! Нам-то какое дело до других? Мы сами по себе, они сами по себе...

Аргентский, по-видимому, чувствовал себя как-то особенно хорошо. Когда стряпка пода-ла нам самовар, он подсел к нашему столу уже без приглашения и проговорил:

– А хорошо выпить утром стаканчик чай-ку...

– Вы опять со своими сухарями?

– Опять с сухарями... Ну, да это все пустяки.

Он что-то не договорил и в то же время же-лал высказать. Ямщики отправились закла-дывать лошадей; ушел с ними и подозритель-ный староста.

– А знаете, мне всего двое суток ехать до-дому, – весело проговорил наконец Аргент-ский. – То есть, вернее, переночевать еще од-ну ночь, а завтра вечером я дома...

– Вы соскучились по своей семье?

– Еще бы... Катя вот пишет...

Он достал из кармана истрепанный бу-мажник, набитый разными бумагами.

– Постойте, где у меня последнее письмо от-нее? У меня славная баба... Ах да, вот...

Он развернул какое-то письмо и без цере-монии начал его читать.

– Да... славная... «Милый Саша, ты опять

потерял место»... Удивляется, а кажется, могла бы уже привыкнуть. Да... «Я, конечно, понимаю, что ты не мог там оставаться... и я не понимаю, почему Товиев сердится. Твое спокойное и бодрое настроение меня радует... Будем работать и бороться, Саша. Только вот беспокоит меня Аня, у которой сразу режутся два зуба... Доктор говорит, что ее нужно везти в Крым...» Ну, это уже вздор! Не правда ли, какая у меня отличная жена?

Через полчаса обоз выступал в поход. Из ворот медленно и тяжело выкатывались воза один за другим. Василий Иванович стоял у открытого окна и считал. На дворе уже позванивали дорожные колокольчики. Это закладывали наш тарантас.

– Шестьдесят девять... семьдесят... семьдесят один...

На одном из последних возов выехал Аргентский.

Он в последний раз улыбнулся нам, приподняв свою поповскую шляпу. Солнце уже поднялось. Пахнуло дорожной пылью. Где-то вдали тускло блестело подернутое утренней дымкой озеро.

– А ведь он счастливый человек... – задумчиво проговорил Василий Иванович, продолжая какую-то тайную мысль. – И эта жена Катя тоже славная... «Будем работать и бороться...» Право, милая.

1895

Клад Кучума

Из степных встреч

I

Жаркий июньский день. Воздух накален до того, что дрожит и переливается, как вода, а даль чуть брезжит, повитая синеватой дымкой. И такая чудная степная даль... Да, это настоящая киргизская степь, степь без конца-края, степь еще не тронутая дыханием цивилизации. Я любил по целым часам лежать в этой душистой, могучей степной траве, точно окропленной яркими красками степных цветов, – лежать и мечтать, как лежит и мечтает настоящий номад. Что ни говорите, а в каждом русском человеке, как мне кажется, живет именно такой номад, а отсю-

да неопределенная тоска по какой-то воле, каком-то неведомом просторе, шири и вообще по чем-то необъятном. Впрочем, я предавался этим мечтам, так сказать, по обязанности, потому что пил кумыс и должен был известное число часов жариться на степном солнце. Предаваться абсолютному покою – своего рода искусство, которое усваивается только постепенно. Лежишь в траве целые часы и ни о чем определенном не думаешь, а так, мысли в голове плывут, как редкие высокие облачка по летнему небу. Например, отчего в самом деле не сделаться настоящим степняком, как мой хозяин по кумысу киргиз Чибуртай? Ведь он счастлив, и так немного нужно для этого счастья... А как он спит спокойно, какой у него здоровый вид. И ничем не мучится, как не мучится ничем его родная степь, кроме избытка сил. Собственная издерганность на этом степном фоне выступает с какой-то особенной рельефностью, – если бы тряпица могла чувствовать, она, вероятно, чувствовала бы нечто подобное, попав на фабрику или в магазин новых материй, еще не утративших первородной крепости, красок и блеска. Да, я

чувствовал себя именно такой тряпицей, когда лежал в степи, представлявшей мне гигантской зеленой лабораторией, в которой еще недавно готовилась история. Но коренной степняк давно сбит с позиции, и его степь занята другими насельниками. Остался от досельных времен страшный кровавый мираж... Виноват, остался еще кумыс (по-степному: «кумыз»), этот изумительнейший из всех напитков, какие только были когда-нибудь изобретены человечеством. Да, единственный напиток, в котором точно сконцентрировалась степная зеленая сила. Вымиравшие цивилизации оставляли на память счастливым преемникам непременно какое-нибудь зло, как проказа, холера, табак, опиум, и как мы оставим преемникам наше проклятие в форме нервности; а замиренная степь подарила нам целебнейший напиток, которому равного и не будет. И т. д., и т. д.

Привожу свои мысли в порядке их полной беспорядочности и тех свободных комбинаций, которые в виде особенной роскоши может позволить себе отдыхающий человек. Да, еще одно маленькое замечание – только в

степи чувствуешь себя центром мира... Куда ни взглянешь – во все стороны степь расходится от вас по радиусам, как в геометрии. Это совершенно особенное ощущение, которое испытывается только на море и, вероятно, будет испытываться в воздухе, когда наука разрешит наконец вечную проблему движения по воздуху и наши счастливые потомки понесутся птицами по поднебесью. Как мне кажется, в этом сознании собственной центральности таится причина того, что философская обобщающая мысль зародилась именно в степи и у островитян как естественная реакция человеческого духа на господствующее зрительное впечатление.

Итак, я лежал на траве и после мыслей о превратных судьбах человечества занялся наблюдением обступившего меня степного ковыля. Как лесные папоротники, так и ковыль положительно имеет в себе что-то мистически-таинственное и поэтически-сказочное, начиная с того, что он совершенно не походит на другие степные растения и, как папоротник, придает степи немного грустный колорит. Мои наблюдения над ковылем были

неожиданно прерваны заразительным собачьим лаем. Я поднялся и увидел в двух шагах от себя низенького старика без шапки и в белой холщовой расейской рубахе.

– Цыц ты, Поселенка! – окрикнул старик рвавшуюся ко мне собаку. – Еще как раз напугаешь барина...

Старик подошел ко мне и проговорил с какой-то особенной простотой, точно мы вчера только расстались:

– Спичку бы мне, барин...

Как на грех у меня именно спичек и не было с собой, потому что, отправляясь на кумыс, я бросил курить.

– Нет, дедушка, у меня спички...

– Ах ты грех какой... А мы вон там станом стали, надо огонечка разложить, а спички-то и нет. Вот, поди ж ты, какая притча...

По костюму, по говору, а особенно по слову «барин», я сразу определил коренного расейского мужика, – барина Сибирь начинает узнавать только с проведением железных дорог, а до этого решающего момента были или купец, или его благородие как два полюса правящего класса. Ни барина, ни лаптей Си-

бирь не знала.

– Как же быть-то? – проговорили мы в один голос.

– Да, видно, надо будет дойти, барин, вон туда, где шатры стоят...

Шагах в ста от нас виднелись три коша Чибуртая (кош – круглая войлочная палатка), точно какие-то степные богатыри потеряли свои войлочные шапки.

– Постой, дедушка, пойдем вместе, а то тебя разорвут собаки...

– Меня-то не тронут, а вот собачку могут изувечить... Так, дорогой пристала. Ну, мы ее и назвали Поселенкой, потому как сами поселенцы... Мы, значит, рязанские будем.

– А куда вы едете?

– Куда мы-то? Мы-то, значит, на Амур пробираемся...

– На Амур?

– Видно так, барин... А далеко еще осталось?

– Далеконько, дедушка! Тысяч пять верст...

– Ведь вот поди ж ты! – изумился старик. – Третий месяц из Рязанской губернии едем, а все пять тыщ...

Пока мы шли, старик говорил все время, причем я узнал всю биографию его семьи до последнего горя включительно. Дорогой прихворнули двое ребятишек у старшей снохи, животами сильно скудались, ну, а потом и померли. Ревет большуха-то, а того не понимает, что отбились от своей партии. Другие-то вперед ушли, пожалуй, и не догонишь.

– Славные ребятки были, – жалел старик. – Известно, ребячье дело: много ли надо. Точно цыплята свернулись... Конечно, кабы дома, так отлежались бы, а тут, в дороге, стало быть... Сильно ревет большуха, вот как убивается. Всех засмутянила, хоть назад поворачивай... Два сына у меня женатых, ну, у меньшого еще трои ребята мал мала меньше.

Мне очень понравился этот разговорчивый старик. В нем была какая-то особенная детская простота. И лицо такое славное, какое бывает только у коренного русского пахаря. Ни одного торопливого движения, ничего лишнего. Я люблю вот именно такие простые крестьянские лица, в которых точно отпечаталась вся наша русская история. Он побряхывал на ходу, шмыгал ногами, обутыми в ра-

сейские лапти, и встряхивал головой. Поселенка почуяла врага и принялась угрожающе ворчать. Киргизские собаки-волкодавы бросились к нам навстречу громадными прыжками, но узнали меня и ограничились обнюхиванием Поселенки. Перед кошем Чибуртай курился огонек. Сам Чибуртай сидел около на корточках и внимательно следил, как мой кучер Егор Иваныч, пробойный городской мещанин, промышлявший около хороших господ, жарил баранину прямо на угольях по какому-то мудреному исправничьему рецепту. В Сибири есть и яичница «исправница».

– Мир на стану... – проговорил мой старик.

Чибуртай, высокий, скуластый и узкоглазый киргиз, одетый в летний бешмет из черного ластика, издали очень походил на попа. Он мельком взглянул на старика поселенца и отвернулся, как отвертываются от недостойных внимания предметов. Чибуртай был богат благодаря каким-то мудреным комбинациям с краденым золотом и крадеными лошадьми и держал себя с большим гонором.

– Огонька бы... – повторил старик. – Мы, значит, тут лошадку остановились покор-

мить, а огонька-то и нет.

– На... – предложил ему Егор Иванович целую коробку серянок, зорко оглядывая гостя. – Дальние будете, старичок?

– А мы рязанские, значит.

Егор Иванович отличался большой любознательностью и кроме того по натуре был фантазер и мечтатель. Его городская голова постоянно была набита тысячью самых несбыточных думушек, а главное, его вечно тянуло в ту неведомую даль, где протекли сытовые реки с кисельными берегами. Услыхав, что старик рязанец переселяется на Амур, Егор Иванович весь встрепенулся.

– А ведь ты правильно, дедушка... В самую точку угадал. Палили и до нас слухи об этом самом Амуре. Я сам туда подумывал махнуть, да вот все как-то собраться не могу... Да и то сказать, какие мы есть люди, то есть городские: так, ни к чему. Вот я в извозчиках ездил, потом соленой рыбой да листовым табаком торговал, гармонию могу починить или подметку наладить, а все это наплевать... А настоящий крестьянин совсем другое: он на своей земле сидит. Одобряю, дедушка... Пра-

ВИЛЬНО.

– Уж как бог донесет, мил человек. Ох, далеко еще ехать-то...

– Ах ты какой, дедка... Ну, далеко, это точно, а все-таки куда-нибудь да приедешь, и бояться тебе нечего, потому как нет на свете правильнее человека, как крестьянин. Остальное-то все пустяки...

Старик топтался на одном месте и все приглядывал степную даль, защитив от солнца глаза ладонью. Он покачивал головой и что-то шептал про себя.

– Ты это что, дедка, ворожишь-то?

– А вот смотрю... дудка вон сухая везде по полю, значит, место-то и не пахано и не кошено. Не видывали мы еще таких-то местов... Неужто так травка пропадом и пропадает?

– Скотиной только травят, дедка. Здесь казачья земля, ну так казаки гурты жировать пускают. Кому тут косить, когда за десятину аренды всего тридцать копеек.

– Как тридцать? – переспросил старик, не веря собственным ушам. – Господи, помилуй...

– А такое, значит, положенье... Казачишки

ленивые, ну и сдают землю. Любую выби-
рай... У вас-то там в Расее кошку за хвост
негде повернуть, а мы еще слава богу.

Этот земельный разговор заставил старика
забыть и об огоньке, и об ожидавшей его на
стану семье. Он весь превратился в одно вни-
мание, как охотник, почуявший дорогую и
редкую дичь. Чибуртай молчал и только из-
редка взглядывал на старика с каким-то
скрытым озлоблением. Когда к огоньку подо-
шел с уздой в руках кривоногий казак Бель-
ков, картина получилась вполне закончен-
ная. Чибуртай изображал собой замиренную
орду, Бельков – отдохавшего завоевателя,
Егор Иваныч – посадского вольного человека,
а старик поселенец – ту силу, которая реали-
зует несметные богатства сибирских равнин,
степей, гор и пустынь. Комбинация выходила
самая характерная. Бельков присел к огоньку
по-татарски на корточки, закурил коротень-
кую трубочку и равнодушно слушал разгла-
гольствовавшего Егора Иваныча, начавшего в
конце концов обличать беспросыпную каза-
чью лень.

– Дай-ка вот ему вашу-то землю! – кричал

он, указывая на поселенца. – Да ведь тут золото лопатой будут огребать, а вы чуть сами с голоду недохнете. Вон у дедушки и рубашка домашнего холста, и штаны из домашней пестрядины, и лапотки своего домашнего ковырянья – вот его и не возмешь ни с которого боку. Ничего не боишься, дедка?

– А чего бояться-то?

– Вот, вот... Всего-то имущества – один крест, а он всю немшоную Сибирь наскрозь пройдет, потому как есть вполне правильный человек. Мы-то все ничего не стоим супротив него...

– Отстань, смола! – равнодушно отвечал Бельков, не имевший ни малейшего желания вступать в словесное ратоборство.

И Егор Иванович и Бельков были типичны по-своему. У первого лицо было нервное, подвижное, и вся фигура какая-то встрепанная, точно он только что проснулся и еще не успел прийти в себя, а Бельков уже в достаточной мере пропитался степной ленью и всему на свете предпочитал *far niente* [1]. Ему даже говорить было тяжело. К старику переселенцу он отнесся с скрытым пренебрежени-

ем привилегированного человека. Казаки вообще считают мужика существом низшего порядка, а тут еще какая-то голь расейская. Поселенец постоял, посмотрел на степную аристократию, покачал головой, окинув еще раз хозяйским глазом некошеную степь, и проговорил!

– Ужо я пойду... Спасибо за спички-то.

Чибуртай и Бельков не удостоили его даже кивком головы, а Егор Иваныч поднялся, он не мог утерпеть, чтобы не посмотреть своими глазами, как расейские едут на Амур, Его пожирали огонь вечного любопытства.

– Ну, пойдем, дедка. И лошадка, поди, расейская?

– Своя лошадка-то, мил человек. Куды мы без лошадки... Двух курочек везем да петушка. Все как-то веселее...

– И курочек? – умилился Егор Иваныч. – Вот-вот...

Старик и Егор Иваныч скоро скрылись в живой зеленой волне степной травы. Виднелись некоторое время одни головы. Егор Иваныч сорвал прошлогоднюю сухую дудку и долго что-то объяснял старику, повертывая ее

у него под самым носом. Седая расейская голова опять покачивалась, и издали казалось, что это качается шапка громадного ковыля.

– Голь перекатная, – презрительно заметил Бельков. – Туда же, на Амур...

II

Я жил в маленькой казачьей станице, по внешнему виду представлявшей собой воплощенное убожество, какого, пожалуй, и в России не сыщешь. В станице была всего одна улица и та грязная до невозможности, потому что служила для всех станичных баб помойной ямой. От первого дождя она превращалась в отвратительное месиво, а в сухую погоду обдавала вас едкой пылью. Всяческие отбросы копились здесь в течение целого столетия, и единственными санитарами служили станичные собаки и свиньи. Леса в степи нет, и станичные избенки кое-как были слеплены из кривых березовых и осиновых бревен, – слово «бревно», конечно, нужно понимать относительно, и вернее назвать эти бревна просто толстыми жердями. Эта городьба была слеплена кое-как, еще хуже проконопачена и для большей теплоты обмазана кое-где гли-

ной, а то и просто навозом. Крыши все, конечно, были соломенные. Вообще, самая бедная стройка, хотя у каждого казака был земельный надел в тридцать десятин.

Жизнь в станице, конечно, была скучная до последней степени. Я обыкновенно уходил на целые дни в степь с ружьем стрелять степных ястребов, — это было единственным развлечением. Сидеть у себя дома и смотреть на несчастных кумысников, еле бродивших по станице, — было еще скучнее. Я занимал заднюю избу у казака Белькова, слывшего за богача, хотя все его богатство заключалось в нескольких десятках рублей и в хлебе. Деньги он отдавал в рост под ужасающие проценты, а также маклачил и хлебом. До свежего хлеба было еще далеко, а голодные люди не могут торговаться: что хочешь возьми, только выручи. Меня поражало, что вся станица только проедалась и буквально ничего не делала. Не было даже своей кузницы, а ездили ковать лошадей за пятнадцать верст. Самые усердные казаки уходили куда-то на золотые промысла, раскиданные по степи, и возвращались по субботам ни с чем, голодные и обо-

рванные.

По вечерам решительно было некуда деться, и я сидел на завалинке, любуясь казачьей детворой, которая барахталась в пыли или в грязи, смотря по погоде. Станица засыпала рано, как только погасал летний день, и промежуток времени, когда солнце уже закатилось, а ночь еще не наступила, наводил какую-то особенную тоску. Спать еще рано, а делать нечего. Бельков целые дни проводил в том, что решительно ничего не делал. Он обыкновенно ходил по двору и ругался, ругался так, в пространство, водворяя какой-то неведомый никому порядок. Наругавшись всласть, он уходил куда-нибудь в холодок и спал. В сумерки он, как скворец, подсаживался к окну и глазел на улицу с терпением отбывавшего этой высидкой какое-то наказание. В сумерки обыкновенно подходил какой-то странный субъект и заводил с Бельковым какие-то таинственные переговоры. О последнем я заключил из того, что при моем появлении эти разговоры прекращались или принимали совершенно неудобопонятную форму.

– Ну, так как, Бельков?

– А вот этак...

– Немного... Значит, своего счастья не хочешь?

– А ну его!

– Да ты подумай, ежовая голова.

Голова Белькова делала отрицательное движение, а потом следовала беспредметная ругань. Собеседник, рослый и коренастый мужчина средних лет с окладистой седевшей бородой, относился к этим выходкам совершенно равнодушно и, сделав паузу, начинал тянуть тоже о каком-то своем счастье. Завидев меня, таинственный незнакомец считал своим долгом вежливо раскланиваться. По костюму и манере себя держать он не походил на станичника, а скорее на городского прасола. Сначала я принял его за такого же кумысника, каким был сам. Впрочем, Егор Иваныч, знавший уже всю подноготную станичной жизни и, кажется, посвященный в тайну этих вечерних переговоров, раз уклончиво ответил на мой вопрос:

– Не кумысник, а так, по своим делам...

– Золото ищет?

– Нет, так... Он, значит, фершал будет, а

только своей фершальской частью не занимается. Так, вообще...

На Урале непочатый угол людей, которые живут «так», «вообще», «своими делами», и эта характеристика вполне точная. Край безумно богатый, и при известной складке характера люди переходят с чрезвычайной легкостью от одного занятия к другому, как и мой кучер Егор Иваныч. Следовательно, и «фельдшер не у дел» имел право существовать таинственным своим делом. От нечего делать меня все-таки разбирало любопытство относительно таинственного фельдшера, и я напрасно перебирал все, что можно было подвести под рубрику «так» и «вообще», принимая, конечно, во внимание все условия степного и станичного делового обихода. В конце концов выходило все-таки то, что нечем здесь фельдшеру заниматься, кроме золота, которое открыто в казачьих землях Оренбургской губернии лет пятьдесят назад и служило до сих пор, кажется, единственным живым делом. Казаки запускают всякое домашнее хозяйство и шляются по промыслам, разыскивая это «свое счастье». Возможность легкой

наживы и быстрого обогащения манит всех и даже поднимает на ноги беспробудную казачью лень.

Роковым вопросом в нашем станичном житье было питание. Ни говядины, ни яиц, ни хлеба – решительно ничего. Чем питались сами станичники – составляет для меня до сих пор неразрешимую загадку. Вероятно, и тут тоже все дело велось «так», «вообще». В интересах питания мы обыкновенно каждую субботу ездили с Егором Иванычем в соседнюю станицу Кочкарь, где был торжок, почта и телеграф. Эти поездки служили в то же время и развлечением. Егор Иваныч запасал провизии на всю неделю и кстати исполнял поручения других кумысников, причем по привычке бывшего торговца рыбой и листовым табаком малую толику маклачил.

После встречи с рязанским переселенцем наступила наша суббота, и мы отправились в Кочкарь. На полдороге мы встретили шагавшего по стороне фельдшера. Он шел ровным, привычным шагом, размахивая длинной березовой палкой, точно акробат, который идет по канату с балансом.

– А разе мы его подсадим? – обратился ко мне Егор Иванович.

– Пусть садится, – согласился я. – Веселее ехать.

Мы догнали таинственного фельдшера и предложили его подвезти. Он согласился, но с условием, что поедет вместе с Егором Ивановичем на облучке.

– Погода приятная и вольный воздух, – заговорил фельдшер, очевидно желая усиленной вежливостью отплатить за нашу любезность. – Притом аромат с трав, так сказать, благовоние вообще.

Потом фельдшер обернулся и проговорил уже другим тоном;

– А в Кочкаре-то, милостивый государь, что делается! Боже мой, боже мой... Народ, как вода в котле, кипит-с. С золотых промыслов, конечно, главным образом. Тысяч до трех набирается каждую субботу... И что делают! Рабочие все с себя наскрозь пропивают, до последней рубашки-с. Так, в чем мать родила. Доходят прямо до мрачного неистовства и делаются в отсутствии ума...

– А все водочка-матушка, – заметил Егор

Иваныч.

Фельдшер по неизвестной причине вздохнул и поправил съехавшую на затылок широкополую поповскую шляпу. Наш коробок поднимался уже на пригорок, с которого открывалась далекая степная панорама, исчерченная неведомыми проселками. Их можно было определить только по ехавшим в Кочкарь крестьянским телегам, верховым и пешеходам. Все двигались по направлению к Кочкарю, маленькой казачьей станице, залегшей на берегу степной речонки. От других станиц Кочкарь отличался только своей белой каменной церковью.

– Здорово народу понаперло, – говорил Егор Иваныч, из-под руки разглядывая торжок: зрение у него было изумительное.

Когда мы уже подъезжали к станице, нас нагнал Чибуртай, кативший верхом на гнедом маленьком иноходце, который, по выражению конников, «мел землю». Чибуртай и в седле сидел по-своему, свесившись как-то на один бок, точно хищная птица. По субботам в Кочкаре проезда не было в буквальном смысле, особенно с нашей стороны. Телеги и эки-

пажи оставлялись у первых избышек. Собственно улица была вся запружена галдевшей толпой.

– Да ведь это тот старик... рязанский-то... – проговорил Егор Иваныч, разглядывая телеги на берегу реки. – Недалеко в три дня уехал... Вы ступайте на почту, а я к нему загляну. Все равно по станице не проехать...

Мы с фельдшером отправились, а Егор Иваныч свернул к реке.

– Покорно благодарю, милостивый государь, – проговорил он, не протягивая руки. – Моя фамилия Куклин-с, Андрей Филатыч... В случае чего, ежели что, так весьма буду рад-с, а Бельков знает, где я живу.

– Благодарю вас, мне ничего не нужно.

– Нет-с, я так, на всякий случай... До свиданья-с.

Нам, однако, было суждено встретиться еще раз.

Я получил почту, побывал в лавке с галантерейным товаром – в Кочкаре устроены настоящие каменные магазины совсем на городскую руку – и отправился разыскивать свою подводку. В самой давке, недалеко от ка-

бака, протискиваясь сквозь толпу, меня окликнул Егор Иваныч. Он был красен как рак, и я заподозрил, что он не утерпел и завернул в кабак заморить червячка.

– Фершала не видели? – крикнул он мне через головы. – Нет? Ах ты грех какой... Вот как его нужно.

– Болен кто-нибудь у поселенца?

– Хуже: лошадь захромала... Чистая беда. Вот тебе и Амур... Куды это запропастился фершал-то? Он знает, как лошадей лечить, потому как не человеческий фершал, а скотский...

Егор Иваныч исчез, а я пошел своей дорогой. Давка была такая, что я буквально едва выбрался. Свой экипаж я нашел на самом берегу реки, а около стояла переселенческая телега рязанского старика. Около телеги из попоны было устроено что-то вроде шатра. Там сидели две молодых бабы и валялись ребятишки. Два молодых мужика стояли около телеги, а старик сидел на земле. Около прыгала на трех ногах пегая лошадь, – сейчас она составляла главное действующее лицо разыгравшейся молчаливой драмы.

- Здравствуй, дедка...
- Ах, барин, здравствуй...
- Лошадь захромала?

Старик только махнул рукой. Горе было слишком велико, чтобы выразить его словом. Сыновья также молчали, подавленные страшным несчастьем. Это было именно страшное несчастье, которое городской человек не сразу и поймет. Я пошел посмотреть расейскую лошадь. Это была даже не лошадь в собственном смысле слова, а просто лошаденка. Лохматая, большеголовая, нескладная, но выносливая как по части работы, так особенно по части питания. Именно к таким лошаденкам я питаю большую слабость, потому что без нее нет и мужика-пахаря. И без пароходов и без железных дорог еще можно обойтись, а вот без такой лошаденки – конец всей русской истории. По неизвестной причине я осмотрел и распухшую у копыта ногу пеганки.

– Цыгана даве приводил я... – объяснил старик. – Взял полтину, дал какого-то снадобья... Говорит: обождите недельку. Легкое место сказать: недельку... Ох, горюшко наше, барин!

Вот какое горюшко... А вон и ваш кучер. Коновала ведет.

Егор Иваныч ужасно торопился, так что скотский фельдшер едва за ним поспевал. Мне очень понравилось это бескорыстное усердие моего кучера. Фельдшер подошел к лошади, осмотрел ногу, пощупал опухоль, потом осмотрел зубы и рот и решительно заявил:

– Никакого толку не будет... Недели три надо дать отдохнуть, а потом само пройдет... Это в ней сока ходят, потому как она накинута на сырую степную траву, а это с непривычки сок из нее и погнало.

Объяснение болезни было довольно фантастическое, но старик переселенец окончательно упал духом. Давеча было две недели, когда цыган смотрел, а теперь уже целых три...

– Барин, явите божецкую милость, – умолял он упавшим голосом фельдшера. – Ведь зарез это нам... Хоть сейчас ложись и помирай.

Фельдшер посмотрел на него, подумал и решительно заявил:

– Нет, ничего не будет... Лучше и не проси. Надо другую покупать.

– Да ведь ничего у нас нет, барин! Как есть ничего. Что вот только на себе. Где же другую куплять...

Мы пошли к телеге. Фельдшер присел на колесо, закурил папиросу и безучастно смотрел на стоявшего перед ним старика. Егор Иванович тоже снял свою шапку и чесал в затылке.

– Егор Иванович, а сколько ты возьмешь придачи на пристяжку? – неожиданно проговорил фельдшер. На кумыс я приехал на долгих, и лошади принадлежали Егору Ивановичу. Неожиданный вопрос фельдшера его совершенно озадачил.

– Ведь три недели вы проживете на кумысе, а через три недели лошадь выправится. Доброе дело сделаешь...

– А ежели не выправится?

– Я тебе говорю; выправится.

В самый решительный момент фельдшер достал бумажник, отсчитал двадцать пять рублей и подал их колебавшемуся Егору Ивановичу.

– На, получай...

Это великодушие тронуло Егора Иваныча, и он ударил по рукам. Все произошло так быстро, что вся семья не успела опомниться. Старик хотел поклониться фельдшеру в ноги, но тот отвел его в сторону и долго что-то шептал. В такт этого шепота старик только кивал головой.

– Ну, а теперь с богом, – решительно заявил фельдшер. – Егор Иваныч, отпрягай гнедого...

– А ты вот что, дедка, – заявлял Егор Иваныч. – Как приедешь на Амур-то, так поставь свечку Егорию... Пять целковых я тебе пожертвовал, как ни считай.

III

Мы возвращались в свою станицу уже на одной лошади, а за нами тяжело прыгала расейская пеганка. Егор Иваныч оглядывался назад, посвистывал и крутил головой. По всем признакам, он раскаивался в припадке собственного великодушия.

– Да, убил бобра... – ворчал он, почесывая затылок. – А чтоб ему, оборотню, пусто было! Ведь как ловко... а? Точно оглушил...

Сначала Егор Иваныч ругался вообще, а потом примялся ругать скотского фельдшера по преимуществу. Этот взрыв негодования для меня был так же непонятен, как и фельдшерское великодушие. Двадцать пять рублей для человека, который живет «так» или «вообще», деньги очень большие. Я решительно ничего не понимал.

– Нет, он у меня не отвертится! – думал вслух Егор Иваныч, очевидно рассчитывая на реплику с моей стороны. – Что мне жена-то скажет, когда я выворочусь с кумыса домой и приведу этакого лохматого черта? В станице засмеют... Да тот же Бельков... тьфу!.. Точно он мне песку в глаза бросил... Нет, брат, ты погоди!..

– За что, Егор Иваныч, вы ругаете фельдшера? Он сделал доброе дело...

Егор Иваныч оглянулся на меня и захохотал.

– Доброе? – переспросил он. – Это, вы думаете, он для расейского старичка пожертвовал четвертной билет? Пожалел? Как бы не так... Не таковский он человек, вот что. Первое дело, и деньги у него не свои, а второе – о себе

он хлопочет, да и меня по пути, дурака, втравил. Видели, как он нашептывал старику-то? Вот это самое... А деньги ему наплевать: как пришли, так и уйдут. Небось и сам знает, что не удержать их, деньги-то, вот он и плутует: дай, мол, всучу поселенцу... Ах, прокурат!..

Дальше Егор Иваныч заговорил уже совсем что-то несуразное: о каком-то акцизном генерале, которого фельдшер обобрал, потом о каком-то кладе, к которому хитрый фельдшер подбирается самым ехидным образом, наконец, о фельдшеровой жене, которая выгнала мужа на все четыре стороны.

– И правильно сделала, значит, эта самая жена. Этакого человека надо как огня бояться... Да он такое устроит... Я так думаю, что непременно он такое слово знает – как сказал, так другой человек и помутится умом. Да вот давеча хоть со мной... тьфу! А родную жену слово-то и не берет... ха-ха... Она его и с словом в шею. На, носи – не потеряй... Ах дурак, дурак – это то есть я дурак-то, а не фершал. Вот бить-то – опять не фершала, а все меня же!..

Этот монолог закончился тем, что Егор Иванович принялся ругать ни в чем не повинную расейскую пеганку, даже погрозил ей кулаком и пообещал продать за три целковых Чибуртаю, который ее съест.

На его счастье, Белькова не было дома, когда мы приехали домой, и Егор Иванович с такой торопливостью спрятал в конюшню несчастную пеганку, точно украл ее. Остальную часть дня он ходил по двору и ругался, а когда пришел домой Бельков, спрятался сам на сеновале самым постыдным образом. Оказалось, что Бельков уже знал все и некоторое время искал Егора Ивановича.

— Егор Иванович... а Егор Иванович! Где ты пропастился? Ну-ка покажи, какого живота выменял?.. Егор Иванович, разве не знаешь порядку: надо вспрыски сделать. До узды доменился...

Бельков удушливо хохотал и хлопал себя по ляжкам.

Вымененная лошадь явилась для Егора Ивановича истинным наказанием, так что мне сделалось даже его жаль. Казаки просто не давали ему прохода и травили его при каждом

удобном случае, так что ему приходилось скрываться. Дело доходило чуть не до драки.

– Ах, Егор Иваныч, Егор Иваныч... хо-хо-хо! – заливался Бельков. – Ты ей, пеганке-то, резиновы калоши купи да шарф гарусный... Мне больно масть глянется. Пьяный черт ночью ее помелом рисовал...

Егор Иваныч даже похудел от огорчения. Но развеселившиеся казаки этим не ограничились и подослали Чибуртая покупать хромую лошадь. Это уже окончательно взбесило Егора Иваныча, и он бросился на Белькова с кулаками. Я едва его удержал.

Так прошел конец июня. Таинственный фельдшер точно сквозь землю провалился. Мы уходили с Егором Иванычем, захватив с собой турсук (кожаный мешок) с кумысом, на целый день в степь, главным образом к тем степным озеринкам, которые начинались сейчас от стойбища Чибуртая. Главной приманкой служили дикие гуси, которые выплывали погулять на чистые места только по зорям. Охота была самая неудачная. Гуси сильно сторожились и не желали подпускать на выстрел. Раз мы скрадывали их целый час,

вымокли в болоте, и все кончилось тем, что я все-таки «промазал» самым бессовестным образом. Дробь нулевого номера брызнула веером, дальше гусей. Я забыл мудрое правило стрелять на воде, выцеливая под птицу. Домой идти мокрыми было неудобно, и мы завернули к Чибуртаю обсушиться. Степенный киргиз не вышучивал Егора Иваныча, что последний особенно ценил. Ночью у кошей всегда было хорошо. Горит огонек, дым стелется по траве, из степи наносит каким-то горьковатым ароматом, хочется без конца сидеть у огонька, ничего не делать, ничего не думать, а только слушать и смотреть. Над головой такое глубокое синее небо, точно оно выложено дорогим синим бархатом и расшито золотом. Слышно, как в станице сонно бредают собаки, где-то испуганно свистнул куличок, ночная птица козырнула молнией над самым огнем, где-то немолчно трещит кузнечик и надоедливо скрипит неутомонный коростель. Ей-богу, хорошо...

Чибуртай, как вежливый степной джентльмен, уступил мне отрубок дерева, заменявший стул, а сам присел к огню по-степ-

ному, на корточках. Егор Иваныч лежал прямо на животе и время от времени отплевывался. Из коша доносилось заунывное пение второй жены Чибуртая, которая только что подоила кобылиц и мешала свежее молоко со старым кумысом. Она пела бесконечные киргизские былины о старых богатырях, любимейшим из которых был последний сибирский хан Кучум. Это было даже не пение в собственном смысле, а какой-то плачущий речитатив с повышениями и понижениями, напоминавшими мерный прибой морской волны. Сколько самой удручающей поэзии в одном таком мотиве... Это была живая история неисчислимых бед, разливавшихся по степи пожаром. Сколько миллионов погибло, а осталась живой одна былина, которая вспоминала былое теплым словом. Чего-чего не видела вот эта степь, среди которой курился наш огонек, и как к ее простору шла эта песня, напоминавшая наши русские бабьи причитанья по покойнике. А скоро уже с победным гулом пронесется первый поезд Сибирской железной дороги, и народная песня, полная святой скорби, замрет навсегда или, в

лучшем случае, сделается достоянием какого-нибудь собирателя-этнографа. К чему и зачем эта история крови, слез и страданий? Неужели она таится в каждом из нас, и только обстоятельства мешают ее реализовать?

– Эх, лошадь-то какая была!.. – вслух думал Егор Иваныч, начинавший в последнее время наяву грезить своим промененным гнедком.

– Твой лошадь дрянь, – спокойно ответил Чибуртай. – Такой лошадь волку давал, и тот назад тащил...

– Такой другой лошади и не сыскать...

– Хуже не найдешь... Я его и есть бы не стал.

У Егора Иваныча проявлялись болезненные преувеличения достоинств гнедка, и он любил возвращаться к этой теме, особенно когда мы бывали у Чибуртая. Киргиз спорил для препровождения времени.

Этот обычный спор был прерван сдержанным ворчанием желтого волкодава, лежавшего у входа в кош. На него откликнулись ментально другие собаки. Стабуненные в одну изгородь кобылицы предупредительно затопали ногами.

– Кто-то идет... – заметил Егор Иванович.

Чибуртай не шевельнулся, продолжая сидеть на корточках, как истукан. Он не изменил себе, когда собаки одной стаей ринулись в темноту.

– Свой... – решил Егор Иванович, прислушиваясь, как глухое собачье ворчанье перешло в ласковый визг.

Из темноты показалась высокая фигура. Это был фельдшер Куклин. Его неожиданное появление произвело впечатление, так что даже Чибуртай заворчал:

– У, шайтан... Зачем ночам шатал, добрые люди пугал?

– Мир на стану, – спокойно проговорил Куклин, подсаживаясь к нашему огоньку. – Этакая ночь-то стоит... Слышно, как трава растет.

Он раскурил папиросу и сосредоточенно принялся смотреть на огонь. Мне показалось, что он сильно изменился и похудел.

Егор Иванович продолжал лежать ничком точно раздавленный. Я понимал, как у него горело сердце на скотского фельдшера, и ждал крупного разговора.

– Где шатал? – спрашивал гостя Чибуртай. – Нашел клад?

Этот невинный вопрос заставил Егора Иваныча расхохотаться. Он закрыл даже лицо руками и только повторял:

– Ох, прокураты, чтобы вам пусто было!.. Клад... ха-ха! Не положил – не ищи. Вот тебе и клад.

– А ты чему обрадовался? – озлился Куклин. – Глупый человек, и больше ничего. Надо понимать.

Эта реплика заставила Егора Иваныча сесть. Он посмотрел на ненавистного фельдшера злыми глазами, как, вероятно, смотрит гремучая змея на несчастного зайца, которого готовится проглотить, и заговорил без всяких вступлений:

– Я-то, дурак, и даже весьма... Ловко ты меня тогда подковал лошадью. Да... Ну и ты тоже около того...

– Около чего?

– Дурак не дурак, а сроду так... Зайцы у тебя в башке в чехарду играют. Верно говорю... Клад! Ах, ты...

Дальше началась ругань, причем на сцену

явилась и жена фельдшера, и обманутый им генерал, и какие-то темные художества по службе, за каковые фельдшера гнали с мест, и т. д., и т. д. Одним словом, Егор Иваныч сорвал сердце в полную меру. Чибуртай продолжал сидеть неподвижно по-прежнему и сосредоточенно глядел в огонь. Я чувствовал себя очень неловко, но не вступался в чужое дело. Фельдшер сидел и смотрел на Егора Иваныча улыбающимися глазами.

IV

– Ну, каков ты есть человек?! – выкрикивал Егор Иваныч каким-то «истощным» бабьим голосом. – Сколько обманешь, столько и проживешь... А только не на того напал. Мне, брат, мое отдай!.. Не согласен, и кончено. Только найдешь клад – я из тебя живым мясом выхвачу... Нет, брат, шалишь!

Получилось маленькое противоречие: сначала Егор Иваныч хохотал над кладом, а теперь требовал своей части, когда этот клад будет найден. Как я заметил раньше, Егор Иваныч хотя и ругал фельдшера, но его тайная деятельность была неотразимо-привлекательна для моего верного слуги. А вдруг

отыщется этот самый клад? И помирать не надо.

– В самом деле, какой вы клад ищете? – обратился я к фельдшеру, чтобы прекратить ругань Егора Ивановича.

– Ну-ка, говори?!. – вцепился Егор Иванович. – Все говори...

– И скажу, – спокойно ответил фельдшер, раскуривая новую папиросу. – Что же мне скрывать? Все скажу... Видите ли, милостивый государь, я, можно сказать, сделался несчастным человеком через собственную супругу. Да-с... О других жизненных неприятностях я уже не говорю. Враги меня преследовали, можно сказать, от самого первого дня моего рождения... А жена уж все и докончила. Видите ли, когда я напал на мысль о кладе, то предложил ей, конечно, продать дом, – дом-то ее, – ну, она, конечно, по своему женскому малодушию уперлась. Не понимает, что от счастья отказывается. Дело самое верное... А чем же я виноват, например, ежели у жены душа короткая? Не вышла в настоящую меру – и конец. Конечно, я с своей стороны делал ей некоторые внушения и держал себя вполне

сосредоточенно. А она, например, к прокурору, к жандармскому полковнику, и сейчас, например, отдельный вид на жительство, и сейчас, например, меня в шею. Хорошо-с... Рассудите сами: жена моя, у жены дом, – значит, и дом тоже мои. С ее стороны было только одно упрямство.

– Каким образом вам пришла в голову эта мысль о кладе? – перебил я.

– Как – каким? Кто же этого не знает, милостивый государь? И даже весьма просто. Сколько угодно этих самых кладов я знаю по разным местам, но только те так, не стоят хлопот. А тут вышло дело настоящее... Когда Ермак завоевывал Сибирь, то сибирский хан Кучум убежал в степь и унес с собой все сокровища. Ермак-то и давай гонять его по степи, как зайца, ну, Кучуму и стало невмоготу. Да и ослеп он к тому же. Вот он, то есть Кучум, и закопал свои сокровища в некотором месте, только бы не достались они Ермаку. И, конечно, при этом сделал зарок-с... Извините, а только я этого не могу вам открыть, то есть какой зарок.

– Нет, ты говори все! – вступился Егор Ива-

ныч. – Ты не скрывай...

– Да ведь ты все равно ничего не поймешь, потому как есть человек необразованный. А вот я им по порядку буду говорить... Да-с. Степняки, милостивый государь, конечно, все знают о кладе Кучума, но боятся его взять. Опять все дело в зароке... Хорошо-с. Теперь войдите в мое положение: дело у меня верное, только недостает денег. А тут жена выгнала на улицу, собственная жена. Значит, что остается делать? Добыть денег. Но где же нынече добудешь денег даже на самое верное дело? Кстати, в это же время меня и со службы прогнали, опять по жалобе на меня жены, и даже хотели отдать под суд. Кругом враги... А я про себя понимаю, что это есть самая хорошая примета, потому что никакой клад не дается без препятствий и неприятностей. Было даже два покушения на самую жизнь: раз чуть не убил меня брат моей жены в остервенении своей злобы, а в другой раз на охоте-с...

– Ну, сейчас генерала подковывывать? – хихикнул Егор Иванович.

– Вы слышали, что он сказал? – обратился фельдшер ко мне, как к третьейскому судье. –

Вот такое понятие у них у всех... А ну-ка, попробуй сам подковать генерала?.. Понятия не хватит. Пустые слова только умеете говорить и больше ничего. Да-с... На чем я остановился? Да, как жена меня хотела под суд отдать. Хорошо-с. Очутился я, одним словом, на полной свободе. А у самого этот самый клад гвоздем засел в башке... Обидно, конечно, что живем в одном городе, жена в своем доме, а я определился на квартиру к знакомому попу. Может, слышали: отец Антоний? Очень умный человек, но скуп до зверства. О деньгах и не заикайся... Конечно, он жил вдовцом и дома даже не обедал, а больше по купцам. Очень его уважали купцы, потому как умный человек. Говорю это к тому, что через этого самого отца Антония я свет увидел. Обращался я к некоторым богатым людям за помощью на предмет клада, но везде получал отказ и обидные грубости. Даже нажил врагов, которые хотели определить меня в сумасшедшую больницу. Так-с... И вот, например, сижу я в поповском доме по целым дням и действительно начинаю чувствовать, что я в том роде, как сумасшедший... Конечно, от

бедности это... Сижу и ропщу, ропщу и завидую. Ведь вот другие живут-с и радуются, а я должен жить и горевать. Почему? как? Почему отца Антония купцы наперехват приглашают в гости, кормят на убой, а я, например, голодаю? Или: напротив поповского дома живет акцизный генерал, то есть он штатский генерал. Ну, живет вполне: два лакея, коляска, квартира в двенадцать комнат и прочее. И почему-то меня стала разбирать злость вот именно на этого самого генерала. Конечно, опять от бедности. Раньше-то завидовал, а теперь сижу и злюсь. А тут еще отец Антоний с квартиры гонит и не велит мою комнату отапливать... И дошел я, можно сказать, до окончательного ничтожества, – продолжал фельдшер, делая отчаянную затяжку. – И все у меня генерал из головы не выходит... Ведь денег у него куры не клюют, а ведь не даст ни гроша, ежели пойти и объявиться напрямик. Так и так, дело верное... В шею прогонит. Хорошо. Видите ли, когда бедный человек думает, у него особенные мысли бывают. Целые дни, бывало, сижу у окна и думаю, что теперь делает генерал и какие, например, у

него мысли. Конечно, богатый человек, сосредоточенный вполне – у него свои и мысли. С полгода я этак раздумывал о генерале, а тут меня и осенило... Сразу искра блеснула. И как все это весьма даже просто. А навел меня не кто другой, как отец Антоний. Видите ли, какое дело вышло. Сидим это мы как-то вместе утром, пьем чай, а отец Антоний все пожиже да пожиже мне наливает. Выходит как будто это невзначай... И насчет сахара тоже утешение: «пей, грит, с сахарным песком». Сам-то рафинад кушает, а мне песочку, от которого так мочалом и нашибает. Хорошо. Сидим. Вдруг это к поповскому дому два воза сена подъезжают... Ах, боже мой, как это все просто на свете делается! Ну что такое, скажите, пожалуйста, два воза сена: пустяки и даже глупость, потому что красная им цена пять рублей.

Фельдшер махнул рукой и засмеялся. Я только тут обратил внимание на его особенность: он никогда не улыбался, и смех выходил какой-то деревянный. Егор Иваныч следил за ним недоверчивым взглядом.

– Может, к генералу сено-то подвезли? –

спросил он.

– Да нет же, к попу. Да... Вот сейчас заходит это мужик и спрашивает отца Антония. «Так и так, два воза сена вам прислал господин Горшенин». – «Как так? почему?» Подивился-подивился отец Антоний, а потом взлел сметать сено в сарай. Поехал к Горшенину отец Антоний, а тот ему: «Закупился, грит, с сеном, два воза оказалось лишних – вот я вам и послал, батюшка». Понимаете, куда дело пошло? Ох и умница этот Горшенин. Прямо в самую точку попал... Отец Антоний, конечно, рад и Горшенина похваливает, а того не замечает, что у самого в башке эти два воза сена засели. Через некоторое время приезжает этот Горшенин уж к отцу Антонию и прямо: нужно пять тысяч на полтора часа. Дивиденту обещает целых триста рублей. Это за полтора-то часа. И что же вы думали: расступился отец Антоний и дал. А Горшенин, конечно, был таков с деньгами. Ищи в поле ветра... И вышло, что отец Антоний за два воза сена пять тысяч заплатил, и весьма просто. Купцы ему и сейчас проходу не дают и все сено это поминают. От злости он меня сейчас

же и сахарного песку лишил. Ну хорошо, думаю, наверстывай теперь... И что удивительно, подари Горшенин отцу Антонию что угодно за ту же цену – ничего бы из этого не вышло, а против сена не мог человек устоять. Предмет огромный, хозяйственный... Да-с, так я тогда и просветлел.

– Сейчас генерал начнется? – спрашивал нетерпеливо Егор Иванович.

– Да, генерал. Видишь ли, в младости я весьма был подвержен к рыбной ловле и тогда еще удивлялся, как это даже самая большая рыба попадает на крючок из-за самого пустого предмета вроде червяка, мушки и тому подобное. И чем больше рыба, тем легче ее обмануть, потому что жадности в ней больше и надеется на свою силу. А ведь она живет, значит, имеет свой рыбий смысл, и вдруг: трах!.. То же и с птицей... Чучелу ей покажешь – она и летит, милая. А что такое чучело: пустяки и даже совсем глупость. Или тоже рябчик по осени: пикнешь ему в пищик, а он так прямо на тебя и летит гоголем. Вся суть именно в пустяках... Набросься с дрекольем – и ничего не поймаешь, а только напугаешь

всех. Вот это самое я и сообразил, когда пошел к генералу. Нужно сказать, что у меня и полная отчаянность в то время была, потому как без денег его никак невозможно взять. А взять нужно... Моих-то собственных капиталов оставалось всего восемь копеек. Хорошо. Отправился я в гостиный двор, прямо в москательную лавку, купил на пятак краски умбрии и с ней прямо к генералу. Даже сам теперь удивляюсь смелости... Хорошо. Швейцар, натурально, меня в шею. Ну, я хожу по тротуару и жду, когда приедет генерал. Едет... коляска, пара вороных, кучер, как хороший деревянный идол... Я тут и вцепился в генерала. Старик был строгий, все его боялись, а тут сам испугался, когда я на него наступил. Прямо лезет человек в отсутствии ума. Швейцар это меня хочет опять вытолкать, а я генералу прямо в нос свою краску сую и притом повторяю самый вздор: «Бедный человек, ваше превосходительство... пострадал от собственной жены... промежду прочим, родной зять покушался даже на жизнь... Осчастливьте слово выслушать». Генерал смотрит на меня, нахмурился. «При чем же, грит, эта дурацкая

краска?» Я тут же ему в передней все и объяснил: «Краска эта итальянская, ваше превосходительство... Один провоз стоит больше трех рублей с пуда. Спросите хоть сами в гостинном дворе». Тут уж генерал рассердился и даже затопал на меня ногами. «Мне-то какое дело, грит, до твоей дурацкой краски? Убирайся вон, дурак...» Я сейчас на колени. «Ваше превосходительство, совсем даже она не дурацкая, потому как я ее вам могу доставить по гривне за пуд сколько угодно. Открыл месторождение, а человек бедный... Купцы не поверят бедному человеку. А ведь это какое дело: умбрии идут тысячи пудов, и ежели с каждого пуда нажить один рубль – и то богатство. Припадаю к стопам вашего высокопревосходительства...» Пожал генерал плечами, а краску все-таки взял.

– Значит, затравка вполне? – хихикнул Егор Иванович. – Ну и дошлый человек уродится в другой раз...

– Что же дальше – дальше уж все как пописаному. Как насыпал я этой умбрии генералу в башку, ну он и вцепился. Через три дня сам за мной присылал... Тоже любопытно на

гривенник рубль получить. Выдал даже мне задатку десять рублей. А я на эти деньги купил два пуда этой самой краски, поехал в лес верст за двадцать, выкопал собственноручно яму аршина на три глубины, а потом приделал боковушку да туда свою умбрию и забутил. Ну, привез генерала. «Пожалуйте, ваше высокопревосходительство, в яму...» В яму не согласился залезать, а я ему и давай из ямы лопатой выкидывать краску. Целый пуд накидал... Только и всего. Ну а потом уж на полном доверии сделался. Начал разведки делать, паровую машину поставил, казарму для рабочих – все как следует. Генерал дает деньги, а я руководствую. Когда он заскучает – я сейчас ему целый воз краски привезу. Нарочно брал из разных магазинов и с песком мешал. Ну, в полтора года таким манером тысяч пятнадцать из него вынул.

Наступила пауза. Егор Иванович широко вздохнул и проговорил с завистью:

– Любую половику к себе в карман положил?

– Ну это уж мое дело...

– А молодчина! – неожиданно проговорил

Егор Иванович. – Ей-богу, молодчина... Ведь надо же было придумать!.. Ловко...

– И ничего ловкого, – сказал фельдшер. – Разве я для себя хлопотал? Для себя-то ввек не придумаешь... И потом, я эти деньги потом отдам генералу, и даже с процентами, только обыщу клад. Все равно, как в банке, у меня его деньги лежат. Опять ты ничего не понимаешь, Егор Иванович. Ну на что мне генеральские деньги, когда и своих будет достаточно? Плевать мне на них...

– Дурак будешь, – спокойно заметил Чибуртай. – Большой дурак... Тебе счастье бог давал, а ты дурак будешь.

Мы прожили на кумысе до ильина дня. Началась уже казачья страда. Степная трава начала сохнуть, и было пора ехать домой. Мы выехали из станицы ранним утром, чтобы никто не видел вымененную пеганку. Егор Иванович все-таки волновался. Он успокоился только тогда, когда станица осталась далеко, а наш дорожный коробок катился по мягкому черноземному проселку между двумя живыми стенами вызревавшей пшеницы.

– А ведь мозговитый мужичонка этот самый скотский фельдшер, – заговорил Егор Иваныч, потряхнув головой. – И клад беспрерывно обещет... Вот только выправить ему Кучумов зарок. Да... Помните, как он четвертной билет тогда отвалил за лошадь поселенцу? И хитер, пес... Сам признался потом. Помните, как он нашептывал? Вот это самое... Дал он старику серебряный рупь-крестовик и наказал, когда подъедут они к Иртышу, бросить его в реку и сказать всего два слова: «Знаю зарок!» Клад-то сам и выйдет, потому как силой тут ничего не возьмешь.

– Старик бросил бы рубль и так...

– А вот и нет. Цыганка прямо ему сказала, то есть фельдшеру: «на пегашке поедешь – не доедешь, а поезжай на гнедой». В самую точку так и сказала. А фельдшеру время дорого, ежели самому на Иртыш ехать, и при этом бабы за него будут молиться. Тоже наказывал...

Егор Иваныч уже не сердился больше на фельдшера, потому что имел в виду променять пеганку «в казаках» на хорошую лошадь, причем, по его расчетам, от полученной им придачи должно было остаться почему-то

ровно семь рублей.

Вызревшая степь имела какой-то усталый вид. Преобладали желтые, золотистые тона, точно этот аршинный степной чернозем был вызолочен живым золотом. Коробок покачивался, колокольчики весело поговаривали под дугой, захватывала чисто дорожная дрема, когда начинаешь видеть собственные мысли. Дорогой часто случается, что привяжется какая-нибудь одна фраза или мотив и ни за что не выходит из головы. Такой фразой для меня была: «Клад Кучума». Я никак не мог от нее отвязаться и, по ассоциации идей, думал о сумасшедшем фельдшере. Мне казалось, что и колокольчики наговаривают то же самое: «Клад Кучума! Клад Кучума!.. клад, клад, клад!..» Да ведь вся Сибирь – один сплошной клад, только стоит снять с нее роковой зарок...

Медвежий угол

Очерк

I

Раннее летнее утро. В воздухе чувствуется бодрящая свежесть, заставляющая вас молодеть. Кругом все залито ликующим светом и зеленеющей радостью; омытая ночью дождем трава кажется покрытой лаком, и каждый придорожный кустик топорщится как именинник. В стороне пестрят траву безыменные цветики, точно детские глазки. А какой воздух!.. Он опьяняет одуряющим ароматом горного шалфея, душицы и других пахучих трав. В голове еще бродит просонье, а тело чувствует себя так бодро, точно вот взял да стряхнул с себя лишних десять лет, городское сидение и застоявшуюся кровь. Поездка верхом сама по себе освежает, а тут еще развертывающийся горный ландшафт, заплетающая ноги крепкая и цепкая трава, мерное покачиванье в седле. Моя серая лошадка неизвестной породы выступает так бодро и по пути ловко схватывает верхушки травы, ли-

сточки рябины и жимолости. Положим, хода у ней нет никакого, но я на первых двух верстах понял, что мой конек лучше всего идет «цыганской торопью», как-то мудрено перебирая ногами и взмахивая головой, чтобы выпростать поводья. Наездник я плохой и вдобавок побаиваюсь, как бы мой серый не запнулся где-нибудь в камнях или в мочажине, прикрытой для неудобства разъехавшимися и осклизлыми мостовинами.

– Не отставайте, – говорит догоняющий меня старик Акинфий. – Мяконькая лошадка-то, так вы ее поводком, – она и ускорится.

Акинфий едет на старом, седлистом, лопухом и горбоносом киргизе, который тычет ногами, как палками, и старик смешно начинает встряхивать всем корпусом, когда киргиз затрусит своей деревянной рысью. Наш поезд вытянулся благодаря узкой горной тропинке. Впереди мелькает присевшая в седле сторбленная фигурка нашего «вожа» Ефима; за ним, вытянувшись, бодро едет на караковом бегунце охотник Левонтич, а передо мной, грузно раскачиваясь в седле, виднеется широкая спина Павла Степаныча. Мы с Акин-

фием составляем арьергард.

– Так дальше и колесной дороги нет? – спрашиваю я Акинфия.

– А куда нам на колесах-то ездить? – отвечает старик вопросом и вздыхает. – Да и ездить некому... Разве вот на покосы кто али объездчики. Некому ездить...

– Ну а в скиты?

– Кому надо в скиты, так дорогу найдет. Настоящая скитская тропа, когда ни конному, ни пешему дороги нет.

У меня какое-то органическое отвращение к местам, изборожденным во всех направлениях проезжими дорогами, и особенная любовь к диким, нетронутым уголкам, вроде того, по которому мы едем сейчас. Все кругом дышит еще не тронутой, девственной прелестью, и лютое хищничество венца природы еще не коснулось ни леса, ни травы, ни земли. Вот она, природа, в полной своей неприкосновенности, как живая картина, только что вышедшая из мастерской великого художника: ни одной царапины, ни одного пятнышка. Дорогой вообще передумывается много такого, о чем в четырех стенах и не снится,

а здесь так вольно дышится, и мысли роятся, как выпущенные из клетки птицы. Хорошо!.. И это голубое северное небо, едва тронутое белым шелком перистых облаков, так любовно смотрит на нас, точно громадный глаз.

– Держите поправее, – предостерегает меня голос Акинфия, и я подтягиваюсь в седле, чтобы проехать молодцом сомнительное место.

Луга и поляны ушли назад, а впереди могуче поднимался настоящий лес. Местность дальше заметно повышается. Нам предстоит переправа через горную речку, совсем потерявшуюся в сочной густой траве, в вербовой заросли и лопухах.

– Какая река?

– А Каменка... Все она же, наша Каменка. Поправее лошадку пустите, а потом через калужину... Эх, неладно, барин!

Я сам чувствую, что неладно, и лошадь тоже. Она застряла всеми четырьмя ногами и собирает свое сбитое тело, как пружину, чтобы сделать отчаянный прыжок. Нужно повторить это движение в седле, чтобы не получилась роковая разность инерции и несовпадающих скоростей. Но проклятое место оста-

лось уже назади, прежде чем я мог что-нибудь сообразить; это общая особенность всех таких опасностей: они так же быстро исчезают, как и появляются. Серый тоже успокоился и в награду за свой подвиг сорвал целую ветку черемухи. Лошадь в лесу совсем не то, чем она является в городе, на улице или у себя в конюшне: в ней как-то и смысла больше, и есть своя лошадиная грация, потому что именно в этой обстановке она только и бывает вполне лошадью.

Каменку мы взяли вброд. Бойкая горная вода так и бурлила около лошадиных ног, точно сердилась, что нарушают ее спокойствие.

– Пал Степаныч, утки!.. – крикнул за моей спиной Акинфий.

Вся кавалькада остановилась. Мне не хотелось слезать с лошади и вынимать ружье из чехла, а поэтому спешился Павел Степаныч. Он грузно зашагал по густой траве к речке, блестящей широкой излучиной. Вот и Ефим пошел за ним. Он был среднего роста и время от времени пропадал с головой в траве. Акинфий поднимался в стремях и, разглядывая

реку, из-под руки делал Ефиму соответствующие знаки. В излучине медленно выплывали три темных точки и с недоумением остановились на самой середине. Гулко грянул выстрел, и одна из этих черных точек бессильно осталась на воде, а две других «взмыли» в сторону.

– Есть!.. – успокоенно проговорил Акинфий. – Ловко Пал Степаныч хлобыстнул.

Охотник Левонтич, рыжий, с красивыми голубыми глазами, бросился добывать «поле». Он как-то необыкновенно быстро остался в одной розовой ситцевой рубашке и, засучив штаны, побрел в реку к убитой утке, Ефим стоял в траве и смотрел. Я много слышал об этом Ефиме и теперь рассматривал его с особым вниманием. Небольшого роста, худенький и сутулый, с впалой грудью и длинными руками, он по наружности не представлял собой ничего выдающегося, как и его самый обыкновенный мужицкий костюм – чекмень, валяная шляпа, рубаха из домашней пестрядины, мужицкие сапоги. Но замечательно было худое, смуглое и узкое лицо с бородкой клинышком: оно точно было снято с

какого-нибудь раскольничьего образа. Особенностью этого иконописного лица было то, что оно постоянно улыбалось, кротко и спокойно, точно постоянно светлело каким-то внутренним светом. Ефим славился как лучший медвежатник, ходивший на зверя с глаза на глаз. Его отец Акинфий в свое время тоже пользовался репутацией неустрашимого охотника, но теперь он по добровольному сознанию уступил все сыну Ефиму: и глаз у Ефима повострее, и рука повернее, и сердцем не упадет; одним словом, булыгинская кровь, а все Булыгины из роду в род медвежатники. Левонтич тоже хороший охотник, и с Булыгинными постоянно за зверем ходит, но только то да не то, и до Ефима ему далеко.

– Эвон тут в стороне у Ефима в петровки медведь в капкане сопрел. – объясняет мне Акинфий, когда мы в прежнем порядке вытянулись по тропинке. – Ошибочка вышла у Ефима-то: вовремя не досмотрел... Здоровущий зверина зацепился; ну, известно, в петровки жарынь, – он и не стерпел. Тошно ему...

– А ты много убил медведей на своем веку, Акинфий?

– Я-то?.. А уж не умею этого сказать: несчитанные ведь наши-то мужицкие медведи. Это господа считают, потому как им любопытно: я, мол, медведя убил. А страшного в этом звере ничего нет, кроме самого слова: медведь. Он меня боится, медведь-то, а не я его... Конечно, без снасти и клопа не убьешь, а все-таки в котором человеке ежели настоящий дух... Вон Ефим по шестнадцатому году первого-то зверя залобовал... Совсем еще мальчонком был. Идет по лесу, а медведь и попадись. Сейчас Ефим пульку спустил и положил зверя. Левонтич тоже ловко на зверя ходит, только горяч больно.

– По сколько же вы в год с Ефимом убиваете медведей?

– А как господь приведет... Бывало, и десятком считали, а то и одного. Нонче уменьшились, потому как ставим зверя барину, Карле Карлычу... Мы его высмотрим, обложим, приведем Карлу Карлыча, а он и убьет. Известно, охотка... Карла-то Карлыч за сорок считает медведей.

– У него тоже, значит, дух есть?

– Ружья хорошие у него, ну, тоже собачки...

Пустое дело, ежели разобрать. Говорю, одно название: медведь.

В этих разговорах дорога короталась незаметно, хотя о главном Акинфий не сказал ни слова. Ближайшей целью нашей поездки было осмотреть раскольничий скит, куда нас и вел Ефим, но об этом не говорилось из особой мужицкой вежливости. Не таковское это дело, чтобы зря болтать. Собственно, устроил все Павел Степаныч, старый знакомый Акинфия, а я в этой компании являлся чужим человеком, в лучшем случае приятелем Павла Степаныча, что, впрочем, само по себе являлось достаточной гарантией. Я люблю всякое отшельничество и с нетерпением ждал, когда наконец мы доедем до цели нашей охотничьей экскурсии. Скиты я и раньше видал, но каждый новый скит для меня являлся крайне интересным предметом наблюдения. Благочестие быстро падает и пустынножителство исчезает. Старики вымирают, а молодые не нарождаются. Да и вся старая вера «пошатилась», везде пестрота, свары и мятеж.

Булыгины были раскольники искони и относились поэтому к православному Левонти-

чу немного свысока. Впрочем, Левонтич и не думал вступать в препирательства с такими столпами древнего благочестия, как наш «вож» Ефим, тип будущего скитника. Он в тридцать пять лет оставался девственником и ничего слышать не хотел о женитьбе. К женщинам будущий подвижник относился с безгливой снисходительностью, как к предмету по своему существу неприличному. В доме он являлся грозой для снох, и сам старик Акинфий побаивался его благочестия.

– Признайся, боишься сына? – допытывался у Акинфия Павел Степаныч. – Строго он вас всех держит?..

– Особенный человек, Пал Степаныч... Крепость у него невозможная, а мы что же?.. Мирские люди, одним словом.

Павел Степаныч несколько раз приставал к Акинфию с этими разговорами, и старик каждый раз заметно конфузился и старался свести разговор на какую-нибудь постороннюю тему. Я объяснял это простой мужицкой совестливостью за нарушенный отцовский авторитет, хотя после оказалось нечто иное, и для меня сделалось понятным, почему Павел

Степаныч с добродушной хитростью улыбался себе в бороду.

Если есть вообще милые люди на свете, так это Павел Степаныч: стоило посмотреть на него, чтобы на душе сделалось легче. И жизнь казалась проще, и солнце светлее, и вообще как-то чувствовалось лучше. Это именно счастливые люди, не проявляющие себя никакими особенными подвигами или выдающимися талантами, но всегда ровные и спокойные, как те большие русские реки, которые красивы своей внутренней силой. Павел Степаныч не был красив, одевался мешковато, держал себя угловато, но стоило ему взглянуть своими добрыми глазами и улыбнуться, как вы невольно подумали бы: «Милый Павел Степаныч...» По происхождению коренной хохол, он сохранил в себе добродушный юмор и вообще шутливую складку. Я по-своему понимал эту жизненную натуру, выработавшуюся мучительным историческим процессом. Предки Павла Степаныча гайдамачили с «свяченными ножами» в Умани, вырезывали Белую Церковь, руйновали шляхетчину, пока сами не попали в лапы

хитрым панам под Берестечком. Потом следовала глухая борьба, панцизна и медленное истощение яркой народности, едва откликавшейся только поэтической думкой слепого бандуриста да своим хохлацким говором. Какую же нужно иметь живучесть, чтобы Павел Степаныч мог улыбаться и устраивать свои «жарты»? На Урал он попал случайно, зажил здесь и сделался «русопетом». В минуту раздумья Павел Степаныч пел свои грустно-веселые хохлацкие песни, в которых так живьем и вставляли белые мазанки, вишневые садочки, пышные дивчины с карими очами, соловьиные песни и эти чудные украинские ночи. Все особенности южной натуры Павла Степаныча преимущественно выступали именно теперь, на фоне моей родной раскольничьей медвежатины. Холодным северным ветром, глубокими снегами и фанатической энергией веяло от нашего вожа Ефима, точно и сам он замерз на одной какой-то мысли и хранил ее как святыню. Этот северный человек не будет распевать любовных песен, не будет любоваться «тихими водами и ясными зорями», но, когда нужно, будет гореть в

огне, гнить по острогам, таиться годами по лесным трущобам и все-таки спасет свое святая святых. Бедность внешних впечатлений здесь выкупалась полнотой и глубокой содержательностью внутреннего мира, упорным исканием потерянной правды. Для меня лично Павел Степаныч и вож Ефим являлись только сторонами одной медали, дополняя и выясняя друг друга.

– А чего же вы задумались, братику? – окликнул меня Павел Степаныч, выравнивая свою лошадь с моей. – Сейчас скит будет...

II

Я вперед рисовал себе картину лесного раскольничьего скита, лица пустынножителей и весь скитский обиход. Простая изба в лесу – и больше ничего. Поставлена она так, что в двух шагах проедешь и не заметишь: это общая характерная черта таких пустынь. Видел я и раскольничьи полукафтаны, и подстриженные в скобу волосы, и честные бороды, и деланно-смиренный взгляд, и раскольничью ласковость и вперед переживал впечатление чего-то фальшивого, неискренного. Наш поезд все еще поднимался в гору; лес ре-

дел, впереди брезжила поляна. Очевидно, когда-то здесь был заводской курень, от которого оставалось только несколько столетних сосен-семенников, оставленных всеистребляющей рукой на племя.

– Эге, чурка! – проговорил рядом со мной ехавший Павел Степаныч. – Это Ефима работа... У него здесь пасека.

Мы выехали на горное плато, в глубине точно огороженное тяжелой грядой высоких гор. Между ними в глубоком логу пробиралась все та же Дикая Каменка, через которую мы переправлялись уже несколько раз. Наша остановка около первой чурки – Павел Степаныч был пчеловод – разъединила поезд. Ефим уехал куда-то в сторону, и вдали мелькала в высокой горной траве только его голова, точно он плыл по этому зеленому приволью. Старик Акинфий и охотник Левонтич скрылись впереди. Самый скит мы увидели, только подъехав к нему вплоть. К тропе он выходил поленницей свеженарубленных березовых дров, так что его трудно было разглядеть. Длинная избушка точно выросла в землю. Очевидно, она строилась не за раз, а по мере на-

добности: сначала была поставлена маленькая избушка в одну горницу, потом к ней прирубили сени, а к сеням приставили вторую избушку. Впоследствии эта постройка была обнесена с севера навесом и новой стенкой, такой же навес козырем шел от задней избы. Чем-то таким домашним, трудническим пахнуло от этой постройки, точно видел ее раньше и каждое бревно было знакомо. Двумя крошечными оконцами скит глядел на юг, точно добрыми стариковскими глазами. Низенькая дверь вела в сени. Когда мы подъехали, нас встретил здоровенный мужик, без шапки и босой.

– Пал Степаныч, родимый мой...

– Лебедкин... Ты как сюда попал?

– А уж, видно, так... Вожжа под хвост попала.

Лебедкин был известный человек на сто верст: он и штейгер, и лошадиный барышник, и все что хотите. Вечно верхом, вечно озабочен, вечно что-то ищет. Он далеко пошел бы, если бы не слабость к водке: пил он мертвецки, по целым месяцам. И сейчас было заметно, что у Лебедкина неладно в башке, и

он только встряхивал ею, как взнузданная «строгая» лошадь. Его появление нарушило первое впечатление от скита. Где-то, под землей, грустным речитативом шло церковное чтение, причем неизвестный голос отбивал необычные для православного уха цезуры. В открытое окно задней избушки тянула синяя струйка дыма от кацеи и сейчас же таяла в ароматном летнем воздухе. В глубине моленной слабо мигали огоньки своедельных скитских свеч. Мне вдруг сделалось совестно и за собственное праздное любопытство, и за нарушенный покой пустынножителей, и за их оскорбленное нашим появлением молитвенное настроение, и точно в ответ на эту мысль протяжной колеблющейся нотой из окна моленной понеслись разбитые, старческие голоса:

– Аа-а-ааа-аа-а-а-а-ааааа-а-ааа-минь!

Это было настоящее крюковое пение, такое же монотонное и грустное, как сама мать-пустыня.

Спешившиеся Левонтич и старик Акинфий, как мне казалось, испытывали такое же чувство смущения, как и я. Акинфий держал

в поводи́ях лошадей и смотрел куда-то в сторону, а Левонтич с несвойственной ему то-ропливостью бросился помогать Павлу Степанычу слезать с седла и по пути шепнул:

– С утра молятся старички, Пал Степаныч.

– Что же, мы их не съедем... Пусть себе молятся на здоровье...

Опять монотонное чтение, точно где-то жужжит большая зеленая муха и время от времени бьется о стекло головой. Мы все молчали. Сначала глаз ничего не мог разглядеть в полутьме моленной, и только потом выступили неясными силуэтами три молившиеся фигуры. Все старцы стояли в ряд, скрестив руки на груди, и в положенное время, точно по команде, откладывали широкие раскольничьи кресты, кланялись, и опять в воздухе поднималась та же зудящая нота, неотступная и щемящая, точно где-то быстро падали одна за другой капли воды. Я рассмотрел стоявшего ближе к окну старика. Это был среднего роста, плечистый и приземистый мужчина с лысой головой и благообразной «теновой» бородой, то есть расцвеченной сединой. Широкое лицо, выпуклый лоб и вся осанка прида-

вали ему внушительный вид, особенно рядом с следующим, тщедушным и сторбленным старичком, походившим на ветхозаветного дьячка. Он весь был какой-то серый, начиная со своего полукафтання и кончая цветом лица, волос и глаз, – того особенного серого цвета, какой вещи приобретают от долгого лежания где-нибудь в кладовых или в сундуках, куда не достигает ни солнечный свет, ни свежий воздух. Третий старец для меня так и остался невидимкой, хотя, очевидно, он и «говорил канун», выражаясь по-раскольничьи.

– Пал Степаныч, родимый мой...

Это был опять Лебедин; он манил из-за угла, подмигивал и вообще имел вид человека, отыскавшего какую-нибудь редкость. Мы пошли к нему, под открылок-козырь. Здесь на земляной завалинке под шубой лежал еще скитник, глядевший на нас каким-то детски улыбавшимся взглядом. Он был или очень стар, или очень болен; оказалось первое.

– Отец Варсонофий... – как-то виновато бормотал Лебедин, показывая глазами на бессильно распростертого старца. – Очень древний старичок...

– Какой отец... – зашептали бескровные, побелевшие губы. – Какой отец... Грешный раб божий Варсонофий, а отец у всех один...

Это было замечательное лицо – выцветшее, просветленное, кроткое... Жизнь в нем едва теплилась, как те колеблющиеся синие огоньки, которыми умирает живой огонь. Тело, высохшее и слабое, оставалось только как готовая в каждый момент распасться брэнная оболочка умиротворенного и ушедшего в себя духа. Эти детские глаза, казалось, смотрели на нас с того света, смотрели с любовной жалостью, как смотрят иногда на попавшихся в шалости любимых детей. С землею здесь давно было все кончено.

– Ну, как здоровьем-то, дедушка? – спрашивал старик Акинфий, подсаживаясь на зава-linkу.

– А ничего... Слава богу. Перемогаюсь по-маленьку...

– Вот господам любопытно посмотреть было на скитскую жисть. Ну, вот и приехали. Только вы-то не беспокойтесь: превосходные господа.

– Что же, милости просим... У нас добрым

людям отказу нет.

– А сколько тебе лет, дедушка? – спросил Павел Степаныч.

– Не считал, родимый... Прежде-то считал, а тут и забыл. Порядочно-таки пожил на белом свете... Да...

Старец на мгновение задумался, потом обвел всех нас своим детским взглядом и точно подумал вслух:

– А ведь точно и не жилал на свете... Точно вот все собирался куда-то, а тут и помирать пора.

– Сорок лет отец Варсонофий спасается, – проговорил Лебедин. – За наши грехи богу отмаливает...

– Давно в лесу живу, родные... Два раза в острог садили, – думал вслух скитский старец. – Как же, сподобил господь принять утешение. В первый-то раз полтора года высидел за беспаспортность, а второй четыре месяца... Сподобил господь... Один я тогда в лесу жил... А теперь вот ослаб... Плоть изнемогла...

– Не страшно одному-то в лесу жить, дедушка?

– На людях, милый, страшнее, да вот живе-

те...

– А не блазнило тебе, когда один в лесу спасался?

– Одинова был такой случай: зимой, ночью, стою этак на молитве, а он как раскочитя да ка-ак ударит прямо в стену...

– Кто он-то?

– Известно кто... Не любит он божьего дела, потому как ему сейчас тошно... Ну, как он ударит в стену мне, а я и слова не могу выговорить: стою и трясусь. Потом уж кое-как отошел и сотворил молитву: «Во имя отца и сына и святого духа...»

– Может быть, это так, дедушка... Мало ли в лесу притчится иной раз.

Старец посмотрел на нас с сожалением и проговорил тоном, не допускавшим возражения:

– А следы где? Я как отошел, сейчас засветил фонарик и пошел осматривать снег кругом избушки! ни-ни... Известно, чья работа, когда и следу не оставил. Ежели бы худой человек или зверь подошел, так следы бы на следил, а тут чисто...

– У него все чисто выйдет, у нечистого, –

сокрушенно подтвердил Лебедкин и даже покрутил своей похмельной головой.

Наше общество составляло оригинальную группу, так и просившуюся на полотно. Центр картины занимал старец Варсонофий; у него в изголовьях задумчиво сидел на обрубке дерева Павел Степаныч, контрастировавший своей могучей фигурой и цветущим здоровьем; в ногах молча стояли старик Акинфий и охотник Левонтич, а Лебедкин постоянно менял место. Под навесом бродили мягкие тени, делавшие светлевшую даль еще светлее. Прибавьте урывками доносившееся крючковое пение, и картина получится полная.

– Ты откуда родом будешь, дедушка? – допрашивал Павел Степаныч.

– А из Невьянского заводу, родимый... Тридцать лет в миру жил, грешил. У нас семья сапожники, ну и я тоже по этой части руководствовал...

– Жена была?

– Мирской человек... Была и жена. Померла давно...

– Зачем же ты в лес ушел: спасался бы дома. Не все ли равно, где молиться.

– Дома-то, родимый, и мысли домашние... Суеты больше, и ему это удобнее, когда домашними-то мыслями начнет ловить человека, как рыбу неводом. И то надо, и другое, и десятое... Уж он знает!..

– Мы вот к вам Акинфия привезли, – шутливо прибавил Павел Степаныч. – Будет ему грешить-то, пора и честь знать...

– Это ты правильно, Павел Степаныч, – угнетенно соглашался Акинфий, скромно опуская глаза. – Давно пора, только вот слабая... недостойн... Не всякому это дано, чтобы в пустыне ухраниться от мира.

– Трудно... – вздохнул старец Варсонофий и любовно посмотрел на Акинфия. – Не всякому дано... В допрежние времена больше крепости в людях было и пустынножителей было больше, а нынче умаление во всем. Сиротеют боголюбивые народы... Господи, прости и помилуй!

– Мало скитов осталось, дедушка?

– Умаление благодати... Старые-то скиты позорены, а новых не слышать. Пестрота началась и в старом благочестии...

Мы оставили старика на его завалинке. Ле-

бедкин опять оставил нас.

– Павел Степаныч, вот она... – шепотом сказал он, указывая на стенку северного навеса.

– Кто она?

– А домовина... Это отец Варсонофий своими руками себе выдолбил, чтобы братию после того не беспокоить. Божественный старичок...

«Домовина» действительно стояла у стены под самым солнпеком. Это был раскольничий гроб, выдолбленный из цельного дерева, – настоящая древнерусская «колода», в каких хоронили покойников еще во времена Владимира Красное Солнышко. Дощатых гробов древнее благочестие не признает. Лебедкин с особенным почтением обошел домовину со всех сторон, пощупал ее руками, постучал в дно пальцами и глубокомысленно заметил:

– Приятная вещь.

Это неожиданное заключение понятно было только для нас и поэтому не вызвало ни одной улыбки. К числу особенностей Лебедкина относилось то, что для него весь мир

распадался на две неравные половины, – приятную и вредную: приятное место, приятный ключик, приятный человек и т. д. и вредные места, люди и вещи.

В двух шагах от скита, в тени молодых березок, сочился из земли ключ. Ближе на бугорке разбит был небольшой огород, то есть до десятка грядок с разным скитским овощем: репа, капуста, морковь, горох. Тут же пригорожен погреб, где хранились скитские запасы.

– Мы опосля посмотрим у них в скиту, – объяснял Акинфий, – а теперь они молятся, старцы... Нехорошо мешать божьему делу. Вон и пчела не любит, когда ей мешают... Ох, грехи наши тяжкие, Пал Степаныч! Посмеялся ты даве надо мной, а ведь я-то и сам чувствую свою слабость... Тоже стыдно, когда поглядишь на христовых трудничков. Весьма мы все это понимаем, Пал Степаныч...

III

Ефим уже поджидал нас на пчельнике, до которого от скита было не больше двухсот шагов. Небольшая сказочная избушка на курьих ножках совсем спряталась в траве. На-

ши стреноженные лошади разбрелись по роскошному горному пастбищу, бархатным ковром спускавшемуся к Дикой Каменке. Перед сказочной избушкой весело курился тоже сказочный «огонек малешенек», а перед ним сидел вож Ефим и в железном котелке мастерила какое-то походное кушанье. Самовар шипел рядом с ним.

– Мир на стану! – издали крикнул Лебединкин.

Мы шумно разместились около огонька. Ружья были приставлены к стенке избушки, на ближайшей березе развешана всевозможная охотничья сбруя, на траве разостлана моя кавказская бурка. Солнце стояло уже высоко, и мы все разом почувствовали, что все голодны и все жаждем.

– Ефимушка, приятный ты человек, – бормотал Лебединкин. – Ах, уважил, родимый мой!..

Ефим только взглянул на забулдыгу своими улыбающимися глазами и ничего не ответил, что заметно смутило Лебединкина.

Прелесть этой горной охотничьей стоянки была выше всякого описания. Все кругом точно улыбалось, выкупая суровую красоту тес-

нившегося кругом дремучего леса. Только скитский глаз мог облюбовать такую «прекрасную пустыню». Редкие столетние сосны венчали ее, как поставленные на страже великаны. На каждой висело по чурке с пчелами, гул от которых проносился в воздухе тонкой струей, точно проводили по краю тонкого стекла.

– А меду к чаю добыть, Пал Степаныч? – спросил Ефим. – Живой рукой достанем...

– Что же, дело хорошее.

Павел Степаныч, утомленный верховой ездой и летним зноем, остался у огонька с Акинфием, следившим за варевом, а мы с Ефимом отправились добывать мед к ближайшей сосне. Чурки висели низко, так что можно было вырезать мед без особых приспособлений. Ефим в одной руке нес дымившуюся головешку, а в другой берестяной «чуман», то есть коробку, сделанную из свежей бересты. Мирно дремавший улей громко загудел, когда мы подошли.

– Учужала... – шепотом сообщил Левонтич, завидовавший уменью Ефима взяться за каждое дело. – Ефима, небось, не тронет, а нас под

один пузырь делает эта пчела. Тоже руку знает...

– У него слово такое есть, у Ефима... – объяснял Лебедкин тоже шепотом, скосив глаза на Ефима. – Ты думаешь, он спроста? Нет, брат, тут везде механика.

Ефим из предосторожности все-таки надел на лицо волосяную сетку и не спеша принялся за дело. Пчелы ужасно взволновались, когда он открыл внутренность улья. Подкуренные дымом, они живым узором передвинулись в верх сот. Лебедкин держал чуман, а Ефим опытной рукой вырезывал один пласт за другим. Это был чудный горный мед, собранный с пахучих горных цветов. Вощина была белая, как слонобая кость, и мед с нее капал прозрачной слезой.

– Ай, ой! – крикнул Лебедкин, ужаленный пчелой в шею. – Ох, смерть моя, братцы!..

Левонтич присел на траву и, закрыв лицо руками, хихикал над перепугавшимся Лебебкиным, – хохотать громко в присутствии Ефима он не смел. Лебедкин корчился, делал гримасы, но не решался выпустить из рук чумана с медом, а Ефим продолжал свое дело, не

обращая ни на кого внимания.

– Что, брат, не любишь?.. – поддразнивал Левонтич побледневшего Лебедкина. – Не нравится... Она, брат, знает, эта самая пчела, кого ей достигнуть.

Мы вернулись на стан торжественной процессией. Лебедкин уверял дорогой, что он нарочно оставил свою грешную выю на съедение пчелам.

– Ах ты, угар! Тоже и скажет!.. – смеялся Левонтич.

– Мне одна старушка сказала, что весьма это полезно, ежели пчела сядет, – уверял Лебедкин. – Самая недушевая тварь...

На открытом воздухе чай со свежим медом имел свою прелесть. Павел Степанович совсем «размалел» и завалился спать. Лебедкин некоторое время шарашился около огонька, пока не свалился замертво прямо в траву, как застреленный. Ефим куда-то ушел, Акинфий рубил дрова на ночь, а я лежал на бурке и любовался голубым небом, ярким светом и бродившими в бездонной выси перистыми облачками. Было жарко, но я люблю полежать именно на припеке. Кругом ни звука. Кузне-

чики и те притихли, – начнет свою трескотню и точно сконфузится. Стреноженные лошади забрались в заросли Дикой Каменки, и только изредка доносились удары ботал, навешенных на их шеи. Все зелено кругом, все радостно, как в годовой праздник, и не хочется ни о чем думать. Хорошо, и только... Точно сам растворяешься в этой зеленой пустыне. Левонтич прикурнул около меня, но тоже не мог заснуть и только тяжело вздыхал.

Не помню, сколько времени я лежал, но, видимо, заснул, потому что когда открыл глаза, то картина была уже другая. И сон здесь был какой-то легкий, точно облачко нанесло. Около огня в живописных позах разместились Ефим, Лебедин, Левонтич и Акинфий.

– Так собачку порешил? – спрашивал Ефим, глядя на огонь.

– То есть даже вот одинова не дыхнула, – с грустью отвечал Левонтич. – А песик был редкостный: зверя один останавливал. А тут барсук и подвернись. Ну, Орляшка его уцепил за загривок и висит: он ведь и медведя таким же манером брал. Да ведь ты помнишь, Ефим, как на зверя хаживали с Орляшкой?

– Как не помнить: верхом на медведя садилась Орляшка. Никакой в ней страсти... Другие собаки норовят сзади подойти, а Орляшка прямо в пасть идет. Уж что говорить: другой такой-то не нажить. Угораздило тебя с барсуком-то, право...

– Да ведь я-то что же! – оправдывался Лебонтич. – Я, значит, и с ружьем был, а не стал стрелять: его же, Орляшку, пожалел. Рвут они друг друга, по земле клубком катаются, – ну где тут наметишься... Ухватил я орясину, замахнулся, ка-ак ударю барсука в башку – он и недохнул; да по пути и Орляшку зашиб. Ей-то по носу орясина изгадала, по самому вредному месту...

– Это ты правильно, – подхватил Лебедин. – Нет этого вреднее, ежели человека, например, ударить в нос, между глаз...

– Да ты о чем, путаная голова? – вмешался Акинфий. – Кто про попа, кто про попадью, а мы про собаку.

– А ну вас к чомору, коли так!.. Нашли приятный разговор...

– А ты не слушай... Другая собака-то получше человека. Да...

Настало молчание. Лебедкин чувствовал, что он попал не в свою тарелку, и только сбоку поглядывал на Ефима. Медвежатники тоже молчали, но по выражению их лиц можно было заметить, что воспоминание об убитой Орляшке подняло в них свои специальные лесные мысли. Левонтич даже опустил голову, как опускает ее человек под тяжестью большого искреннего горя.

– И что бы ты думал, братец ты мой, – как-то залпом выговорил он, вслух продолжая незримо текущую общую мысль: – ведь эта самая Орляшка блазнилась мне... Иду как-то по лесу, за рябчишками, а она как тьявкнет... У ней свой лай был. Я так и стал столбом, мороз по коже: оглянуться не смею, дрожу... Она этак умненько взлаивала, когда на след напала. Очертел я, прямо сказать, а потом так мне тошно сделалось, точно вот о человеке вспомнил... Так и не оглянулся.

– А помнишь, как с Карлой медведя брали под Глухарем? – заговорил Акинфий. – Тогда еще брат у него наехал, офицер...

– Это, когда медведь в часах ходил? – вмешался Лебедкин и захохотал с пьяной угодли-

востью. – В часах и при фуражке... ха-ха!.. Ловко!

– Тогда Орляшка-то, почитай, одна зверя остановила, а другие собаки сплеховали, – продолжал Акинфий. – К выскари [2] его прижала и на дыбы подняла. Ушел бы он, ежели бы не Орляшка.

– Я тогда, как услышал, что Орляшка грудью пошла, сейчас и пополз в чепыжник, – продолжал Левонтич уже сам. – Ползу и слышу, как он, медведь, лапами от собак огребается... Одну зацепил когтем, – ну, запела благим матом. Остальные подлаивают... Я ползу и слышу, как Орляшка орудует: так варом и варит. Этак выполз я, может, в пять сажен, весь медведь у меня на виду, а стрелять нельзя, потому как Карла с братом должны убить его. Ну, я взад пятки, выполз к Карле, маню его, а он и руки опустил: брательник-то помушнел весь и ружье Ефиму отдал; звериного реву по первому разу испугался... Я маню, а Карла ни с места. Ну, я опять в чепыжник, опять ползу под зверя, и жаль мне до смерти Орляшку: пропадет мой песик ни за грош. А уж по лаю-то и слышу, что ему неведомо од-

ному со зверем управляться, да и медведь растервенился. Выполз я, Орляшка увидела меня и даже завизжала: дескать, что же вы это, черти, зверя не берете? Только вот человеческим языком не скажет, – вот такая собачка умная. Ну, я опять к Карле и прямо его за рукав и поволок к зверю. Стреляет Карла ловко и порешил зверя с двух пуль... Ну, к мертвому-то и остальные собаки бросились. Я ее, Орляшку, хочу погладить, а она около меня вертится и все визжит, обидно ей тоже за наше-то малодушие. Строгая была собачка... Мне даже стыдно стало, как она мне в глаза тогда глядела.

– Ну, а брат Карлы убежал? – допытывался Лебедкин. – Душа-то, видно, коротка оказалась...

– И часы и фуражку тогда потерял, – уже другим тоном добавил Левонтич, улыбаясь. – Ну, другие охотники после и смеялись, что в его фуражке и часах медведь целый год по лесу щеголял... Известно, господа, им все хи-хи. Карла наш смелее, а и на того тоску навел.

Общий смех охотников разбудил Павла Степаныча. Он сел, протер глаза и сам засме-

ялся, невольно поддаваясь общему настроению, и только потом спросил:

– Да о чем вы тут брешете, пранни вашему батьку?

– А мы про медведя, Пал Степаныч, который в часах и фуражке по лесу целый год щеголял, – объяснил за всех Лебедин.

– А... Що ж, було и так!

Павел Степаныч опять засмеялся и упал на прежнее место. Этот смех подзадорил медвежатников.

– Помнишь, Пал Степаныч, как медведя из берлоги поднимали? – спросил Левонтич. – Тогда еще чуть ты не наступил на него, на медведя... Карлу с Ефимом чуть не подстрелили.

– И то близко было дело, – подтвердил Ефим со своей невозмутимой солидностью. – Я, значит, стою с Карлой в цепи. Он с ружьем, а я с палочкой... Ну, рассчитал так, что ежели зверь из берлоги пойдет, не миновать ему нас. Ну, слышим – треск, собаки взвыли... Валит зверь прямо на нас. Я посторонился, чтобы дать ему дорогу, а Карла с ружьем ждет. Только вдруг пых-пых, пули мимо нас засви-

стели. Это Пал Степаныч...

– Да чего же я? – чистосердечно удивлялся Павел Степаныч. – Мы с Левонтичем шли... Ну, по снегу убродно, я на лыжах едва ползу и ружье ему отдал. Только поперек колода, я через нее, а из-под нее как он вылетит и всего меня снегом засыпал. Помню только, что медведь как будто летел в воздухе, а потом оглянулся на меня да как рывкнул... Я схватил у Левонтича ружье, вдогонку и стрелил, а он так и улепетывает.

– Что же, убили зверя? – спросил я.

– Собаки остановили... Ефим собак направил. Ну, я бегу на лай, вижу, медведь на задних лапах около сосны вертится и от собак отбивается. Ну, тут я его и пристрелил...

– Страшно было, Павел Степаныч?

– После-то действительно страшновато, а тут некогда было испугаться. Вдруг все...

IV

Когда жар свалил, мы еще раз напились чаю, а потом я с Ефимом отправился на Дикую Каменку за утками. Он шел за мной без ружья и даже без шапки, как свой человек в лесу. Высокая и жесткая горная трава путала

ноги, так что идти было тяжеленько. Перекосивши луг, мы попали прямо в болото, на какую-то тропинку, неизвестно кем проложенную. Меня всегда удивляют такие тропы: кажется, нога человеческая не бывала, а тут вдруг выпадает тропка, да еще такая чистенькая и утоптанная и точно нарочно для удобства пешехода посыпанная прошлогодней хвоей.

– Теперь утка к солнзакату на корм выплывает, – объяснял Ефим, разжевывая осиноый мягкий листик. – В жар она прячется по осокам.

– А ты уток не стреляешь?

– Нет, когда на варево пришибешь, а так чтобы нарочно – не доводится.

Болото шло параллельно реке. Пушистый зеленый мох выстилал почву, как дорогой ковер. Только кой-где он точно горохом усыпан был недозревшей, еще белой клюквой. Попадались низкие кустики болотной морошки, княженики, а на бугорках каплями крови ала совсем спелая земляника. Забравшиеся в болота сосны и ели покачнулись в разные стороны, точно они завязли в этой трясине и

напрасно старались из нее выбраться. Что их безобразило, так это бородатый лишайник, который въедался в живое дерево, сушил сушь и умирал тут же. Особенно жалкий вид имели болотные ели, одетые серыми лохмотьями этого лишайника. Как-то жутко в таком болотном лесу; ни один птичий голос не оживляет его мертвого молчания, – птица выбирает веселые места и любит больше всего ютиться по лесным опушкам. В болоте до поры до времени прячутся молодые выводки да косачи, когда после весенних шумных раутов они начинают терять свое брачное оперение.

Река была густо опущена вербой, ольхой и кустами смородины. Повороты она делала изумительные, точно раздавленная змея. Здесь было уже прохладно, и опускавшееся солнце золотило только верхушки леса. После недавнего зноя, от которого струился воздух, как бывает только в самые сильные жары, идти по берегу Дикой Каменки было одно удовольствие. Раздвинешь куст смородины, и точно обдаст застоявшимся ароматом. Как все горные речонки, Дикая Каменка состояла из небольших плес, где вода стояла как зеркало,

и мелких переборов, где она бежала с тихим ропотом. В одном месте из сухарника (сухой лес) образовалась целая плотина. Мы высматривали каждое плесо, каждую заводь, не покажутся ли утки.

– Должно быть, утка, – решил Ефим, когда мы с необходимыми предосторожностями высматривали одно из таких зеркальных плес... – Да, вот она, легка на помине...

Действительно, в глубине плеса от зеленой каймы осок отделилась черная точка и выплыла на середину. Только охотники понимают то захватывающее волнение, когда глаз увидит дичь. Это инстинктивное и странное чувство, неясным отголоском унаследованное, вероятно, от неизмеримо далекого прошлого, когда наши предки существовали исключительно одной охотой. Вся прелесть охоты именно в нем, когда весь человек превращается в зрение и в слух; когда же дичь убита – является чувство цивилизованного раскаяния. Мне случалось убивать немного, но каждый трофей сопровождался именно таким чувством, как было и теперь, когда Ефим достал из воды только что убитую мной утку.

– Черныш, – коротко проговорил он, взвешивая на руке добычу. – Не велика корысть.

Мы присели отдохнуть на берегу. Дикая картина разворачивалась кругом, – сказочный дремучий лес, сказочная река, сказочное освещение. Царившая кругом молитвенная тишина невольно заставляла мысль уходить в себя, глубоко внутрь, в тот мир, который раскрывается только пред лицом вот такой природы. Мой молчаливый спутник лежал ничком на траве и тоже раздумывал какую-то свою раскольничью думу. Ведь здесь для него все было свое, родное...

– Прежде в Каменке много выдры водилось, – проговорил он наконец. – Нынче-то выбили ее...

– А трудно ее добывать?

– Ничего-таки, порядочно мудрено... Перед рождеством на нее ходим. Одному-то не справиться, так берешь товарища. Смышлястый зверь... Около полыньи живет по зимам-то, потому как рыбу жрет и передохнуть ему надо. Выследишь его все ходы и выходы, ну а потом и за работу. Сперва надо две канавы во льду прорубить и частоколом загородить,

чтобы она не унырнула. Лед-то толстый, бьешься по горло в воде целый день.

– В декабре?

– В декабре... Канавы пройдешь, потом надо опустить лед с берегов, потому как река-то мелеет зимой и подо льдом воздух остается – она им дышит. Когда обрубишь лед с берегов, спустишь его на воду, тогда уж ей деваться-то некуда. Мечется-мечется она в воде, а потом в полынью морду и высунет – тут уж ее товарищ и покончит. Другой раз целый день в ледяной воде так-то проваландаешься.

– И ничего?

– Привычные мы люди... Сперва-то, конечно, как будто неловко, точно даже обожжет, когда в воду залезешь, а потом в работе разомнешься. Ежели бы одни ноги промочить, так от этого голова болит, а весь в воде – ничего...

– Сколько же ты получишь за такую выдру?

– А рублей пятнадцать дают, когда хороший зверь издастся. Тоже и выдра всякая бывает.

Рассказы об охоте на выдру я слышал и ра-

нее, но не доверял им. Ефиму же можно было верить на слово: не такой человек, чтобы соврать. Я с удивлением рассматривал его сухую, подвижническую фигуру и никак не мог себе представить, как может такой человек целый зимний день проработать в ледяной воде.

– Живущая тварь эта самая выдра, – продолжал Ефим. – Мы тогда с Пал Степанычем порешили одну. Ну, видим – мертвая, и подвесили ее за задние ноги к дереву, чтобы кровь стекла из нее. Этак с полчаса она висела, а потом собака и полюбопытствуй: подошла к выдре и только хотела крови лизнуть, а та ее за скулу, – да так ухватила, что мы едва ее отняли. Башку ей раскроили, ну, тогда собаку выпустила... Вот сколь она живущая, тварина!

Мы опять разговорились об охоте. Ефим больше всего любил «заганивать зверя», то есть сохатого. Такая охота идет зимой, на лыжах, и требует нечеловеческой силы. Достаточно сказать, что охотник должен загнать на ходу такого скорохода, как сохатый. Иногда охотник бежит на лыжах верст семьдесят. Какие легкие нужно иметь для такого спорта?

– Он, сохач, сперва-то как стрела идет прямо, – рассказывал Ефим, болтая ногами. – Как ножом режет... Ну, гонишь его десять верст, гонишь другие десять, третьи десять... Верхнюю шубу сбросишь, потом полушубок, потом кафтанишко и в одной рубахе бежишь, а он все прямо чертит... Значит, чувствует себя в полной силе. А как свернул в сторону, сделал петлю – тут уж весь твой. Дух заперло, значит... А ты его все гонишь. Начнет он бросаться из стороны в сторону, потому чувствует свою неустойку. Ну, подпустил на выстрел, тут и конец.

– А какое у тебя ружье, Ефим?

– Да разное... У родителя-то пистонные были ружья, а у меня с казенной частью. Только я берданку не уважаю, здоровьем плоха. Как пошел снежок, у ней затвор и не действует: хоть плачь. Я лесую с Пибоди... Этот не обманет. Раз трех сохачей из Пибоди убил зараз. Матку гнал с двумя быками... Ну, вышли они силой и повернули, так я сперва матку положил, а потом и обоих быков. Последнего-то саженьях на семидесяти свалил.

Мы вернулись на стан уже в сумерки, ко-

гда и Дикая Каменка, и окружавшие ее болота, и луг покрылись первым туманом. На па-секе весело трещал огонь, и около него мелькали фантастические тени. Павла Степаныча не было – он ушел в скит. Я тоже отправился туда и нашел всех в сборе. Старик Варсонофий лежал на своей завалинке под шубой, а около него разместились другие скитники: старец Порфирий, плечистый лысый мужчина с большим лбом, серый старец Иона и еще какой-то молодой человек с глупым лицом. Этот последний оказался приживальцем, – он страдал падучей и вместо больницы жил в скиту.

Мое появление прервало какой-то разговор. Павел Степаныч в одной рубашке сидел на обрубке дерева и с улыбкой смотрел на старца Порфирия.

– Ну, так как же, Порфирий, в баню ходить грешно? – спрашивал он, очевидно, продолжая начатый разговор.

– Того ради грешно, что не подобает свою плоть поблажать, – с уверенностью отвечал старец Порфирий. – Вон старец Варсонофий не бывал в бане-то целых тридцать лет... Да. А

ты читал о преподобном Иоаннии? Нет? Ну, так преподобный Иоанний спасался в пустыне и никогда не зрел голого человеческого тела. Не мылся, не сменял одежды. Только раз пришлось ему переходить реку. Остановился преподобный и смутился: раздеваться того ради было нужно. Не хотелось ему изменить обету, и старец заплакал горько... Тогда восхищен бысть ангелом и перенесен на другой берег. Другой святой из боярского рода был, роздал имение нищим и поселился в пустыне. От всего отказался, только не мог босой ходить, потому как от молодых ногтей возвращен был в неге. Так и ходил в сапогах. Только и бысть ему некоторое сонное видение: видит он самого себя, что сидит на золотом престоле, кругом сияние, а ноги по колена в скверне. Тогда уж он догадался и бросил свои сапоги в огонь...

Очевидно, Порфирий являлся среди братьи «языком» и все время поддерживал разговор, кстати и некстати пересыпая его славянскими словесами. Другие скромно молчали. Мне опять было как-то совестно за свое праздное любопытство и за то, что вот мы, незва-

ные гости, испортили целый день пустынножителей. Ведь мы – люди суеты, и принесли эту суету сюда, в это место уединения, покаяния и умиренной мысли. Только добродушное лицо старца Варсонофия несколько гасило это смущение: он так просто и любовно смотрел на нас своими детскими глазами.

Оказалось потом, что еще один старец скрывался от нас, именно келарь Онисим. Мы его открыли при осмотре скита, когда вошли в келарню, то есть просто на кухню. Это был высокий, сгорбленный и черный, как жук, мужик. По своим келарским обязанностям он носил передник и рукава ситцевой рубахи застучивал. К нам он отнесся почти недружелюбно и все время отворачивался.

– Он тоже с заводов, – объяснял конфиденциально старец Порфирий. – Торгующий был человек, имел капитал, жену, детей... И все сии прелести оставил ради пустыни.

– Давно он в скиту?

– Да уж с десятков лет будет... Только привыкнуть не может: диковат.

Мы обошли и осмотрели весь скит. Первая комната с улицы образовалась из бывших се-

ней. Она стояла сейчас пустая, кроме задней стенки, на которой развешано было какое-то скитское платье. Маленькая дверь направо вела из нее в моленную. Это была низкая комната, величиной в четыре квадратных сажени; ее освещало единственное крохотное оконце. Передняя стена была огорожена длинной полкой, уставленной потемневшими образами старинного письма; образов в окладах почти не было. Под образами висела шелковая, потемневшая от времени пелена с раскольничьим восьмиконечным крестом посредине. Перед этим скитским «иконоставом» стоял низенький аналой с разогнутой для чтения книгой. В углу была приколочена укладка для книг, свечей и ладана. На скамейке подле окна лежали заношенные «подрушники» – четырехугольные небольшие платки на подкладке, которые во время молитвы расстилаются на полу, чтобы опираться на них руками. Несколько кожаных лестовок висело на стене – и больше ничего. Обстановка моленной была довольно убогая, а о роскоши здесь не могло быть и речи, что мне особенно понравилось. Показывал нам

все старец Порфирий, повторявший к месту и не к месту свое «того ради».

Келарня – простая изба с русской печью, полатями, лавками и разным домашним скарбом. Монашеского здесь ничего не было, а запах свежееиспеченного хлеба говорил о жизни и ее вульгарных потребностях. Келарь Онисим при нашем появлении угрюмо скрылся, но мы опять нашли его, когда осматривали скитскую кладовую, где стояли лари с разными запасами, таинственные кадучки, бадьи и разные сундуки. В общем скитское богатство было очень невелико, и старец Порфирий многозначительно поднимал густые брови: оскудела благодать, не стало доброхотов-даятелей...

– Чем вы будете жить, если вам не подвезут хлеба? – спрашивал Павел Степаныч.

– А бог-то? – ответил вопросом все время молчавший серый старец Иона.

V

Солнце давно закатилось. Заря потухла. Голубое северное небо точно раздалось и ушло вверх, в таинственно мерцающую даль... Внизу было темно. Лес точно сделался выше и ка-

зался гораздо дальше, чем днем. Белым молоком облился весь луг, все болота и вся Дикая Каменка с ее заводами, осоками, плесами и переборами. Что-то торжественное стояло в самом воздухе... Хороша эта молитвенная тишина наших северных лесов, эти безмолвно-торжественные ночи и трудовой покой после кипучего летнего северного дня.

– У старцев опять зачалась служба, – сказал Левонтич, сплевывая на огонь и чутким охотничьим ухом прислушиваясь к доносившимся из скита неясным звукам. – Вишь, как вытягивают... Теперь уж на целую ночь зарядили.

– Когда же они будут спать?

Левонтич только пожал плечами: на то, значит, старцы, чтобы молиться целоночно.

После легкого охотничьего ужина мы разместились на ночлег. Павлу Степанычу, мне и старику Акинфию была отведена изба, а остальные прикурнули на открытом воздухе, около огонька. Лебедин спал уже давно, раскинувшись плашмя на голой земле. Ефим сидел у огня с обычной серьезностью и мастерил из свежей бересты чуманы для меда.

– Вёдро будет, – проговорил он. – Трава росу дала... Если Ефим сказал, значит, так и должно быть.

У него на все были свои приметы, и он все знал здесь, как хороший хозяин. Левонтич только поддакивал ему.

– Ну, пора и нашим костям на покой, – с широким вздохом проговорил Павел Степаныч, укладываясь на свежем сене. – Эх, Акинфий, на людях-то греха сколько: как на черемухе цвету.

– Уж это что говорить, Пал Степаныч... Ты это правильно...

Мы улеглись на полу вповалку. Павел Степаныч занял центр, я левую, а Акинфий правую сторону. Старик что-то разнемогся, вздыхал, ворочался и кашлял старческим кашлем.

– Что, Акинфий, неможется?

– Ох, и не говори! С утра-то расхожусь, так будто и ничего, а вот как спать ложиться – меня и ухватит. Передохнуть не могу...

Молчание. Дверь «на улицу» открыта, но и там ни звука. Акинфий опять надрывается кашлем и стонет. В избе темно, и только белым смотрит единственное оконце.

– Акинфий, ты скоро умрешь, – спокойно говорит Павел Степаныч в темноте.

– Сам знаю, что скоро, – так же спокойно отвечает Акинфий. – Что же, Пал Степаныч, будет, прожили в свою долю...

– Пора тебе в скиты уходить...

– Давно бы пора, да слаб я... Людей будет стыдно, ежели, напримерно, уйти в скит, а потом опять домой воротишься. Терпенья не хватит, Пал Степаныч.

– А когда грехи свои будешь замаливать? Небось, довольно их накопил...

– Ох, и не поминай... Подумать-то страшно, Пал Степаныч!.. К ответу дело идет, а отвечать не умею...

– А как же Ефим? До тридцати пяти лет девственником прожил, а потом в скиты уходит.

– Уж он уйдет... Это ты правильно, Пал Степаныч. Беспременно уйдет... Особенный он человек: крепость в нем и умственность до бесконечности. А у меня терпенья нет...

Пауза. Темнота и глухая тишь. Привыкшее к этой ночной тиши ухо едва различает неясные голоса, которые поют где-то точно под

землей: это опять скитская служба. Акинфий тяжело вздыхает.

– А та где, Феклиста? – неожиданно спрашивает Павел Степаныч, поборая изнемогающий сон.

– Где ей быть-то, – нехотя отвечает Акинфий. – Живет на заводе...

– У меньшака?..

– У его, значит...

– А ты к ней ездешь?

– Бывает... Ох-хо-хо!..

– Почему же ты ее к себе в дом не возьмешь?..

– Я-то? Причина есть, Пал Степаныч... Первое дело, низко мне взять ее в дом, потому как бросовая она была девка, прямо сказать, шляющая по промыслам. Второе дело, совестно мне перед сыновьями да снохами будет: все большие, а я ее в дом к себе приведу... Положим, моя старуха пятый год уж померла, а все-таки оно тово... Третье дело, Пал Степаныч, не нашей она веры: православная.

– Ну, все это вздор, Акинфий. Какая она была раньше, ты это сам видел, а теперь Феклиста воды не замутит... Работает на весь дом,

ребят тебе каждый год носит – какого же тебе черта надо?

– Говорю: низко...

– А дети как?

– Как дети? Ребенок родится, мы его сейчас на воспитание и отдадим...

– А ребенок и умрет?

– Ежели бог веку не даст... Действительно, помирают все.

– Помирают? И тебе не стыдно, Акинфий?

– Да ведь не я их морю...

– Ну, перестань дурака валять: понимаешь сам, что нехорошо делаешь... Феклиста-то, по-ди, ревмя ревет...

– Баба, так известно ревет.

– Видишь ли, Акинфий, это свинство... Ребенок сам защититься не может, а вы его с Феклистой на верную смерть отдаете. Разве это хорошо? За беззащитного человека ответ еще больше...

– Ах, Пал Степаныч, Пал Степаныч, разве я этого не чувствую... Вот даже как чувствую!.. А только и мы неспроста это дело делаем: как ребенок родится, отдадим его в люди и сейчас, наприимерио, мы с Феклистой шабаш,

ровно сорок ден чаю не пьем... Да. После каждого ребенка так-то...

– И потом опять за старое?.. Ах, нехорошо, Акинфий... Хуже того, если бы ты вот схватил сейчас нож и принялся меня резать: я большой человек и буду защищаться, а ребенок что поделает?

– Это ты правильно... ох-хо-хо!..

– Ну, а грешным делом помрешь, тогда куда твоя-то Феклиста? Выгонят ее сыновья из дому, и ступай опять на промыслы. Приятно это тебе будет, а?

– Вот уж это самое напрасно ты, Пал Степаныч... Ах, как напрасно! – заговорил Акинфий совершенно другим тоном. – Да... Я тоже, по-ди, духовную написал, по всей форме. Будет Феклиста благодарить...

– Что же ты отказал ей по духовной?

– Я-то? – с гордостью переспросил Акинфий. – Я, Пал Степаныч, прямо так и написал в духовной, что, мол, после моей смерти выдать Феклисте пятьдесят целковых. Верно тебе говорю... Будет, говорю, Феклиста благодарить!

Павел Степаныч расхохотался во все горло.

– Вот так одолжил!.. Ловко... Она у тебя теперь прожила пять лет, ты ей ни копейки не платил за работу, баба весь дом воротит – это, значит, по десяти целковых в год приходится. Не продешевил, Акинфий... ха-ха!.. Да еще ты проживешь лет пять, – значит, по пяти целковых в год Феклиста тебе обойдется, а ребята даром.

Акинфий обиделся и замолчал. Наступила неловкая пауза. Павел Степаныч хотел сказать еще что-то по его адресу, но на половине фразы заснул.

Опять мертвая тишина, прерываемая только пением в глубине земли. Я полежал с полчаса, напрасно стараясь заснуть, а потом вышел на воздух. Слишком много было впечатлений за этот день, и они никак не укладывались. Огонь перед пасекой уже догорал, а около него, скорчившись, спали Лебедкин и Левонтич. Бодрствовал один Ефим. Я подошел и сел рядом с ним. Он не шевельнулся, и я в свою очередь скоро забыл о его существовании. Мне казалось, что я ушел куда-то в глубины русской истории, той не писанной при- сяжными учеными истории, которая созда-

лась сама собой, как большая река из маленьких ключей. Борьба за существование вершилась здесь в самых примитивных формах, с рогатиной в одной руке и с ножом в другой, как в доброе пещерное время. Я чувствовал в самом себе пещерного человека и понимал его со всем обиходом его пещерных мыслей, чувств и желаний. Но и у пещерного человека были свои нравственные требования, – он не только добывал себе пищу, укрывался от холода и защищал свое гнездо, но и задавал себе мудреные вопросы: как? почему? В пещерной жизни было слишком много неправды и всякого зла (до Феклисты включительно), получался страшный разлад в душе пещерного человека, и он уходил спасать свою душу опять-таки в лес. О, как отлично я понимал вот этих пустынножителей, которые сами бы даже и не сумели рассказать словами своего душевного настроения. Да, зло слишком велико, оно царюет в каждом пещерном человеке, и для спасения необходимы самые энергичные средства: золотой середины здесь не могло и быть. Пещерный человек спасал свою омраченную душу с каким-то ожесточе-

нием, как раньше ходил с рогатиной на медведя. Северный траурный лес, мертвая зима с ее вьюгами и сорокаградусными морозами – все точно создано для такого покаянного настроения. Проникнутая мирским зверством душа оттаивает и выливается в этих ноющих звуках скитнического пения... Ведь правда там, наверху, и умиротворенная душа рвется в таинственную даль с кровавыми слезами. Вот и Ефим идет по этой дороге и внесет с собой в упдающее скитничество свою «крепость и умственность до бесконечности», – отшельничество у него в выражении глаз, в улыбке, в каждом движении. Он здесь, на земле, только временный гость и, что особенно важно, сам сознает это.

– Что, Ефим, много старцев спасается в горах? – спросил я, нарушая молчание.

– Есть... А прежде больше было. Ослабел народ...

– Ведь нынче даны большие льготы старообрядцам, и должно было бы быть наоборот.

– Это для приемлющих священство, а не для нас. У нас старики правят. Между собою разделение пошло большое: что ни дом, то и

своя вера. Бес проскочил промежду боголюбивыми народами. И старики наши ослабели: не стало прежнего гонения, не стало и крепости. Последние времена...

VI

Утром все встали рано: нужно было до жары подняться к горе Глухарь, до которой от скита считали верст пятнадцать. В скиту все еще шла служба, так что нам так и не удалось проститься с гостеприимными старцами. Лебедкин проспался и был мрачен. Левонтич седлал лошадей. Старик Акинфий, разбитый бессонной ночью, едва бродил по поляне, разминая ноги. Как хорошо это горное утро, свежее, бодрящее, ароматное. Все кругом точно умылось ночной росой, капли которой сверкали в траве, как алмазные слезы. Мой серый отдохнул и несколько раз во время заседлывания пробовал укусить Левонтича.

– Балуй, ежовая голова!.. – с деланной грубостью кричал на него Левонтич.

Отдохнувшие лошади вообще позволяют себе некоторое лошадиное кокетство: притворно прижимают уши, притворно стараются укусить, притворно брыкаются. Я уверен,

что наши лошади оставляли роскошное пастбище с искренним душевным прискорбием, – им так хорошо было здесь, даже несмотря на железные путы. На пасеке остались Лебедкин и Акинфий, а остальные ехали на Глухарь. Лебедкин тяжело и сокрушенно вздыхал, тряс головой и вообще обнаруживал довольно ясные признаки раскаяния.

– Эдаких-то подлецов удавить мало, – ворчал он в пространство. – Как я теперь к жене покажусь с этакой, например, образиной?..

– Хорош!.. – коротко заметил Павел Степаныч, усаживаясь в седле.

– Бывают хуже, да редко, родимый мой... А как ты полагаешь, Павел Степаныч, что мне дражайшая супруга должна сказать? «Пошел вон, подлец!» – вот и весь разговор. Значит, ежели она мне правильная жена... А я ей скажу: «Гони ты меня, Дарья, в шею!» Вот какой у нас разговор... Кругом я себя окружил качествами, как частоколом. Просил старцев отмаливать, так говорят: твой грех, ты и отмаливайся...

– Ну, прощай, Акинфий, – сказал Павел Степаныч, забирая поводья. – Спасибо на угоще-

ные.

– Не обессудьте, родимые...

Наш поезд опять вытянулся по тропе к Дикой Каменке. Впереди, раскачиваясь в седле, ехал вож Ефим, замыкал цепь Левонтич. Покрытый росой луг так и искрился под лучами яркого утреннего солнца. Мокрая трава цепко хватала за ноги и оставляла на сапоге свои семена. Лошади шли «с-ходы», как ездят в дальнюю дорогу. Вот и луг кончился. От нашей ночевки остался назади только легкий дымок. Скит давно уже скрылся из глаз. Впереди густой лес, темной ратью залегший по Каменке. Вот и болото, и сквозь сетку деревьев уже блестит речное плесо. Где-то прокуковала лесная сирота-кукушка и смолкла.

Через Каменку переправились мы вброд, причем лошади усиленно фыркали, прядали ушами и обнаруживали все признаки душевного волнения. Черная точка отделилась от берега и поплыла вверх по реке. Мне было лень слезать с седла, и Павел Степанович бросился в мокрую траву. Остановка. Утренняя дрожь охватывает все члены. Даже бурка не спасает от горной свежести. Громкий выстрел

раскатился по реке эхом, точно и лес и река вскрикнули от испуга. Из травы показалась голова Павла Степаныча и опять скрылась: утка, видимо, только ранена. Минута томительного ожидания, и новый выстрел. Левонтич бежит по берегу и машет руками. Раненая утка волочит крыло по воде и быстро скрывается в осоке.

– Теперь шабаш, – замечает Ефим, удерживая насторожившихся лошадей на поводьях. – Подранок уйдет... Без собаки ничего не поделишь: хоть наступи на нее.

Он говорил об утке-подранке без всякого сожаления, как охотник, и мне кажется, что сегодня ночью я видел другого Ефима. Теперь его захватила грубая зоологическая правда, и даже это удивительное лицо потеряло свой внутренний свет...

Утка-подранок так и скрылась, а мы поехали дальше. Тропинка начала забирать в гору и быстро скрылась в настоящем дремучем ельнике, где в самые большие летние жары сохраняется обильная влага, а наша тропинка, видимо, никогда не просыхала. Лошади начали вязнуть в грязи, и приходилось лави-

ровать между деревьями. Камни, валежник, грязь по колено, – а деревья точно все теснее и теснее сдвигаются, загораживая дорогу. Едешь, и вдруг точно живая рука протягивается и срывает шапку с головы. Следовавший за мной Левонтич каждый раз поднимал ее с земли, свешиваясь с седла, как настоящий джигит. В одном месте, когда мой серый с отчаянным усилием рванулся из трясины, та же деревянная рука схватилась за мое ружье и потащила с седла, – я удержался в седле, но новенький кожаный погон лопнул.

Чем дальше, тем путь делался труднее. Все ехали молча, предоставив все уменью привычных лошадей, а этому горному болоту не было конца-краю. Поезд растянулся; маленькая фигура Ефима мелькала далеко впереди.

– А чтоб ему пусто было, этому болоту! – ругался Павел Степаныч, хватаясь руками за лошадиную гриву. – И откуда здесь болоту взяться.

– В раменье завсегда так, – объяснял Левонтич. – Болота нет, а солнышко не хватает...

– Скоро выберемся из лесу?

– Версты с три еще будет...

– Три версты?! А чтоб ему пусто было...
Пьяному черту здесь только ездить.

И достались нам эти три версты... Измотавшиеся лошади дымились от пота. А вож Ефим все едет вперед, плавно раскачиваясь в своем высоком пастушьем седле. Если бы не проклятая грязь, можно было бы полюбоваться дремучим лесом. Ели так и несутся в небо своими стрелками-вершинами... Какая строгая северная красота в этом дереве! Что-то такое родное и близкое во всем пейзаже, что трудно поддается определению. Желтый мох расцвечен колеблющимися золотыми пятнами; кой-где топорщится бледно-зеленая травка; а вот и безыменные желтые цветики – они напоминают здесь заблудившихся в лесу детей... Хорошо в этом дремучем лесу, если бы не проклятая дорога.

– Кто по ней ездит? – спрашиваю я Леоитича.

– Да кому ездить... Лесообъездчики ездят, ну, еще так кто, а больше никого. Вот к петрову дню по ней на могилу отца Павла народ идет...

– И много?

– Блиско тысячи будет... Со всех сторон народ бредет.

Впереди что-то засветлело, и лес точно расступился. Это речка, и опять она, Дикая Каменка. Ефим остановился на самом берегу и поджидает нас.

– Пал Степаныч, надо здесь уху добывать, – кричит он, поднимаясь в седле.

– Чем? – спрашивает Павел Степаныч.

– А уж чем бог пошлет. Руки-то с собой...

– Харюзов ужо наловим, – объясняет Левонтич. – Должны быть...

– Да чем их будем ловить-то? – повторяю я вопрос.

– Да уж Ефим знает... Он спроста не скажет, не таковский человек. Голыми руками возьмет... Право! Опустит палец в воду, харюз подбежит, а он его и сцапает. Ого, вон и жаркое посвистывает...

Левонтич весь насторожился, как охотничья собака: в лесу раздался слабый свист рябчика. Мы спешили. Вож Ефим пошел вверх по Каменке, которая была здесь курам по колено. В одном месте, ниже от дороги, образовался омуток сажен в десять. Ефим остано-

вился и поднял руку: харюз здесь. Началась оригинальная ловля бойкой горной форели, ходившей в омуте одним руном. Сначала Ефим сделал на палке петлю из конского волоса и вытащил одного харюза, но это было долго ждать.

– Ну-ка, Левонтич, давай азам, – скомандовал он. – Завязывай рукава, вот тебе и бредень.

Татарский азам сослужил службу в лучшем виде. Ефим и Левонтич смочили его и пошли в заброд. Первая попытка дала всего несколько рыбок, потому что вода была светлая и рыба ускользала врассыпную. Ефим замутил воду, и следующие заброды давали по десятку. Левонтич торжествовал от ловкой выдумки и все посвистывал, подманивая рябчиков. Через полчаса у нас было уже тридцать семь штук харюзов – самая лучшая уха. Харюз до того нежен, что не выносит никакой перевозки и употребляется только на месте ловли. Чтобы перевезти его на расстояние каких-нибудь десяти верст, его нужно выпотрошить и переложить свежей травой.

Когда рыбная ловля кончилась, составил

военный совет, где варить уху – здесь, на берегу, или на Глухаре? Большинство голосов было за последнее.

– Версты с четыре будет, не больше, – объяснял Ефим, вглядываясь в синевшую впереди гору. – Там и ключик есть.

Мы с Левонтичем отправились за рябчиками и в каких-нибудь четверть часа убили четыре штуки. Горный уральский рябчик стоит горной форели – нежный, белый, с специальным горьким букетом.

Живые харюзы переложены были свежей травой, завернуты в мокрый азам и в таком виде поступили в дорожные «пайвы» [3], привязанные к седлу Ефима. Теперь нам предстоял подъем в гору. От Каменки с полверсты шла мелкая заросль, по местному «чепыжник», а за ней опять густой лес. Я был рад, что проклятая грязь наконец осталась далеко позади. И лес здесь казался веселее благодаря соснам и березам – смешанный лес всегда кажется красивее. Но давешняя грязь сменилась новым неудобством: лошадям приходилось иногда лепиться по сплошному камню. Того и гляди, что она или ногу ломает, или

полетит кубарем вместе с седоком. Чем дальше мы подвигались, тем больше нам попадалось таких камней. Мягкая тропинка составляла лишь отдельные «прогалызины». В одном таком месте вож Ефим остановился и показал глазами на тропу.

– С час места как прошел, – объяснил он.

На мягком грунте рельефно отпечатались широкие медвежьи лапы.

– Тоже не любит, подлец, в шубе-то своей по мокрой траве ходить, – объяснил Левонтич. – Лезет в гору по тропе... Уж только и смышлястый зверь!

Медвежьи следы тянулись на расстоянии целой версты, а потом исчезли, потому что начались опять камни. Лошади карабкались по ним, как козы. Попадались такие кручи, что мой серый на несколько мгновений останавливался в раздумье: идти или не идти. Но лошадь Ефима шла вперед ровным шагом, как хорошая заведенная машина, и серый, вероятно, устыдившись собственного малодушия, принимался карабкаться по камням с ожесточенной энергией.

Гора Глухарь – одна из высоких точек

Среднего Урала, что-то около двух тысяч футов над уровнем океана. Она затерялась в глуши, так что бывают на ней одни охотники. Издали она даже и не кажется высокой, и только подъем на нее может служить убедительной мерой настоящей ее высоты. Как большинство уральских гор, Глухарь заканчивается довольно высоким каменным гребнем, шиханом. Мы сделали привал под самым шиханом, где оказался и медовый ключик. Стан был разбит в несколько минут, и сейчас же затрещал веселый огонек. Ефим принялся за чистку рыбы, Левонтич кипятил в походном котелке воду. Мы с Павлом Степанычем отдыхали после трудного подъема, растянувшись на бурке. Утреннее солнце смотрело во все глаза, и наливавшийся в воздухе летний зной не чувствовался только потому, что на такой высоте всегда дует ветер.

Уха из харюзов была уничтожена с приличной торжественностью, а затем оставалось залезть на самый шихан, высившийся сажен на тридцать. Лет двадцать тому назад я бывал на Глухаре, и мне захотелось проверить сохранившееся в памяти представление.

С Глухаря открывался вид на зеленую горную пустыню верст на сорок в любой конец. Взбираться на шихан приходилось по куче камней, образовавших так называемую россыпь. Издали эти камни казались не больше тех, какими мостят улицы, а вблизи они превращались в настоящие глыбы, так что приходилось карабкаться в некоторых местах при помощи рук. Подъем облегчался много тем, что все камни обросли лишайниками и нога не скользила. Каждая такая россыпь – результат тысячелетнего разрушения гребневых скал. Павлу Степанычу, при его массивности, подниматься было особенно трудно, и он несколько раз принимался отдыхать.

Вид с вершины шихана открывался такой, что даже дух захватывало. Налево глубоко запала Дикая Каменка, и я едва нашел место, где стоял скит, то есть нашел приблизительно. Кругом широкими валами расходились горы: Востряк, Два Шайтана, Шелковая, Веселые Горы, Глухарь – служили пунктом водораздела; Дикая Каменка несла свою воду в Камско-Волжский бассейн, а спускавшаяся с другого бока горы река Волчиха принадлежа-

ла уже Обскому. Замечательно было то, что в поле зрения, захватывавшем около пятидесяти верст, не было ни одного жилого пункта, – это была специально уральская пустыня, охраняемая посессионным правом. Не будь это заколдованная заводская дача, здесь красовались бы десятки деревень, сел и разных лесных «половинок», как на Урале называют починки. За двадцать лет моего отсутствия эта пустыня не изменилась ни на волос, да, вероятно, останется такой и еще на двести лет. Правда, старые заводские курени успели зарости, и я напрасно искал их глазами, но на их место выступали ярко-зелеными заплатами новые.

– А это что там такое, на востоке? – спросил я, вглядываясь в вытянувшуюся среди лесов желтую ниточку верст за двадцать от нас. – Прииск не прииск, а что-то новое...

Павел Степаныч с трудом дышал от подъема и, сколько ни смотрел на восток, ничего не мог сказать.

На прииск как будто не похоже, да и нет в той стороне приисков; а впрочем, может быть, и прииск. Только очень уж правильная

желтая ниточка, точно ножом отрезана... Нет, какой там прииск.

Нас вывел из недоумения поднявшийся на шихан Ефим.

– А железная дорога... – спокойно объяснил он. – Она вон там, по загорам прошла.

– Это верно: машина, – подтвердил Левонтич, вылезая из-за камня.

Солнце стояло уже почти над самой головой, и даже здесь, на вершине горы, чувствовался зной. Небо было совершенно чисто, и только с полуденной стороны, надвигаясь, круглилась темная грозовая тучка. Горная панорама теперь открывалась во всей своей красоте и очерчивалась по горизонту туманной дымкой, точно была вставлена в раму.

– А куда ходят на могилку отца Павла? – спросил Павел Степаныч.

– Эвон Рябиновая гора вытянулась на полдень, так сейчас за ней, – коротко ответил Ефим, указывая гору. – Там и могилка...

– Нынче над ней крышу поставили, – объяснил Левонтич. – Прежде-то не позволяло начальство...

– Отец Павел у вас святым считается,

Ефим?

– Угодник божий...

– Откуда же он попал сюда?

– А неизвестно, Пал Степаныч... Сказывают, что из солдат. В лесу проживал много лет... Зиму и лето ходил босой. К живому еще к нему народ ходил, ежели он позволял...

– А как же он мог не позволить.

– Да уж так... Раз к нему Зотов-заводчик собрался. Он, Зотов-то, нашего древлего благочестия был и хотел отца Павла видеть. Только выехал он не один, а с гостями, и все пьяные были... Ну, отец Павел и не допустил: три дня плутали вокруг Рябиновой, а отца Павла так и не нашли. Глаза всем отвел... Будущее предсказывал, ежели кто с молитвой да со смирением приходил.

– Что тут под петров день делается! – рассказывал Левонтич. – Народищу тысяч до трех собирается. Из Москвы приезжают... Каждое согласие отдельно, и у каждого согласия своя служба. Везде налои, свечи, кадят, поют... А за главной службой кликуши учнут выкликать: одна страсть!

– Как узнали, что отец Павел угодник? –

спросил Павел Степаныч.

– Видение было одному человеку, – коротко объяснил Ефим. – Бродяги убили отца-то Павла да и сволокли его в болото... Ну, пропал он без вести, и только. Года с три этак время прошло, а потом и было видение. Пошли его искать и нашли в болоте, а потом под Рябиновой горой и схоронили. Я так полагаю, – прибавил Ефим уже другим тоном, – отнимут его у нас православные... Выстроят часовню над могилой, и все тут. И теперь уж много православных ходит на могилку-то...

Спускаясь с Глухаря, я прощался с медвежьим углом навсегда: больше не приведется быть здесь...

На заимке

I

Солнце быстро спускалось над лесом, а июльские ночи в горах без сумерек – как солнце сядет, так и сделается темно, точно какая-то неведомая рука задернет занавеску. С озера, которое обступили высокой рамой синеватые горы, потянуло холодной сыростью. В летние дни солнце садится быстро, и я ускорил шаги, чтобы засветло добраться до заимки «брата Ипполита». Издали за мной следил мой верный пес Орлик, не смевший подойти ближе, – он держался на почтительном расстоянии, потому что съел молоденького зайчонка и ожидал соответствующего наказания. Пес был вообще дрянной и лукавый, но что поделаешь, когда нет лучше. В моем ягдташе болтался один несчастный чирок – добыча целого охотничьего дня. Впрочем, надвигавшаяся темнота скроет все недочеты по части охотничьих трофеев.

На заимке «брата Ипполита» я бывал несколько раз; вот только спуститься под горку, взять по речке налево, и у самого устья бу-

дет заимка, но сейчас ее точно кто отодвинул. Когда торопишься, всегда дорога кажется длиннее. Да и тропинка точно другая – какие-то камни, коренья, ямы, точно кто-нибудь нарочно их подкладывал, чтобы затруднить доступ к заимке. Мне было не до красоты чудного летнего вечера, когда так хорошо пахнет свежей травой и оживляет спасительная прохлада. Томила к тому же страшная жажда, и все мечты сосредоточивались на том, чтобы напиться чаю на заимке у «брата Ипполита». Он жил бобылем, и рассчитывать на молоко или квас было нельзя. Нет бабы, так уж какое тут молоко.

Когда мы подходили к заимке, было уже совсем темно, точно какая-то неведомая рука погасила последний свет. Перед заимкой на мысу, впрочем, ярко горел костер, придавая картине какой-то особенно уютный вид. Огонь нигде не производит такого впечатления, как именно в лесу, особенно ночью. Что-то такое уютное, жилое, говорящее о живом человеке и его труде. Я вполне понимаю, почему ветхий человек поклонялся огню, как божеству: если огонь и не божество, то в нем

все-таки невольно чувствуется стихийная, именно божественная, благодетельная сила. Без огня человек оставался бы до сих пор несчастным и жалким дикарем. Отнимите в одно прекрасное утро у людей огонь, и от всей нашей цивилизации останутся одни развалины.

Мои мысли были вспугнуты, как птицы, каким-то криком у огня. Ругались два голоса. Потом в освещенном костром кругу запрыгали две человеческие тени и слышался неистовый крик:

– Батюшки!.. карраул!.. Ой, батюшки!..

Человеческий крик в лесу, особенно ночью, производит впечатление чего-то особенно страшного и беззащитного. Я побежал и почему-то на бегу уже заметил, что сейчас за костром стоит лошадь, понуро опустив голову и вяло отмахиваясь коротким, точно обгрызанным хвостом от комаров. Навстречу мне выбежала кудластая собака Найда и без лая приветливо замахала хвостом. Мой Орлик широкими прыжками пролетел к дравшимся и залился отчаянным лаем.

– А вот тебе угощенье!.. – слышался чей-то

хриплый голос. – Будешь меня помнить... А вот тебе еще на прибавку!..

– Батюшки, убили... Ой, смертынька!!!

Когда я подбежал к самому месту действия, представилась такая картина: на земле что-то корчилось и вопило благим матом, а на это что-то навалился «брат Ипполит» всем своим громадным телом и неистово бил кулаком.

– Что ты делаешь?! – крикнул я, хватая «брата Ипполита» за плечо.

Он удивленно повернул ко мне свое бородастое широкое лицо с какими-то детскими серыми глазами и не вдруг ответил:

– А вот за угощением человек пришел, ну, так я его и гово...

– Нехорошо драться, Ипполит. Оставь...

– Эх, один бы разок еще ударить... Можно?

– Нет, довольно.

Пока «брат Ипполит» размышлял, можно или нельзя ударить еще один разок, вопившее под ним что-то воспользовалось этим раздумьем и как-то вывернулось. Оказалось, что это был солдат, известный под кличкой Вилка. Он поднялся, встряхнулся, ощупал себя, сомневаясь в собственной целостности, опра-

вил сбившиеся штаны и рубаху и проговорил добродушным тоном, который совсем уж не соответствовал недавним отчаянным воплям:

– Ну и чертушка... ах ты, братец ты мой?! Думал, и не дыхану больше: чисто как жернов навалился. Ну и идол...

Удостоверившись, что руки, ноги, ребра и скулы целы, Вилок уже совсем добродушно прибавил:

– Ведь этак-то живого человека можно и убить... Вот так получил угощение. В полной форме...

«Брат Ипполит» продолжал сидеть на земле, почесывал в затылке и смотрел на солдата улыбающимися добрыми глазами.

– Жив? – спросил он солдата.

– Маленько жив... Вот зачем под ребра бьешь, деревянный идол? Тоже в самое душевредное место норовит...

– А ты не плутуй...

– И не думал! Взбрело тебе в башку незнамо что, вот и накинулся на человека медведь медведем...

– А люди-то что говорят? Даве на базаре вот как на смех меня подняли... Я еду на тво-

ей лошади, а мне кричат: «Брат Аполит, погляди-ка, у твоей новопкупки хвост телята отжевали». Я поглядел – действительно, хвост тово... Потом опять кричат: «Брат Аполит, гляди, лошадь-то кривая, одним глазом совсем не видит». Подбежали это к лошади, машут перед самым глазом рукой, а она хоть бы тебе моргнула. Опять кричат: «Это солдат Виллок из страженья лошадь привел отставную. Тебе на нее пенсию будут выдавать». Это как по-твоему?

«Брат Ипполит», подогретый этими воспоминаниями, сделал попытку опять поймать вороватого солдата за шиворот, но тот ожидал это движение Ипполитова духа и не без ловкости увернулся. Потом Виллок подскочил к лошади, пнул ее ногой в живот и заговорил азартным гоном завязанного барышника:

– Это тебе не лошадь, Аполит? Не лошадь... а? Так какие же лошади, по-твоему, бывают... а? Хвост? Хвост отрастет... Что касается глаза, так она одним-то глазом лучше тебя все увидит. Экая важность: один глаз не видит. Да другая с двумя-то глазами копыта ее не стоит. Ты бы как должен меня благодарить за нее,

идол... Другой бы в ногах валялся.

В доказательство необыкновенных достоинств лошади, Виллок вскочил на нее верхом, сделал круг около костра и даже заставил стать на дыбы.

– Это не лошадь?! – кричал он. – Дракон, вот как надо сказать по-настоящему.

«Дракон» опять стоял под прикрытием едкой струи дыма, отгонявшей комаров, подогнув натруженные ноги и развесив уши по-свинячьи. Лошадь никуда не годилась по всем статьям.

– Ежели бы лошадь была с изъяном, так разве бы я смел к тебе на глаза показаться? – не унимался солдат, начиная увлекаться собственной ложью. – Да ведь я бы тебя за версту обошел... Так? А тут иду прямо в гости. Думаю, Аполит вот как поблагодарит... Неблагодарный ты человек, больше ничего. Вон рубашку на самом плече растерзал...

Эта нелепая сцена, от начала до конца, будет понятна только тогда, когда читатель узнает, что «брат Ипполит» слыл за «тронутого человека», у которого «не все дома». Очевидно, Виллок этим пользовался, сбывая свою

кривую лошадь. Глядя на здоровенную фигуру «брата Ипполита», как-то трудно было поверить, что это психически больной человек и даже не больной, а так, чего-то недоставало. Его все обманывали, пользуясь его простотой. Жил он на своей заимке на глухом берегу озера совершенно один. Заимками в Сибири называют именно такие участки земли, которые не входят в черту селенья, а стоят отдельно. В частности заимкой называется уже самое строенье. Большинство таких заимок имеет промысловое значение – салотопенные, мыловаренные, кожевенные заимки, в других случаях заимка является пчельником, рыбачьей стоянкой, фермой наконец. Заимка «брата Ипполита» имела именно это последнее значение, когда был еще жив старик отец и когда всем «руководствовал» младший брат Иван Павлыч, в противоположность Ипполиту худой и чахоточный, мрачный, с тяжелым взглядом темных, глубоко посаженных глаз. После смерти отца Иван Павлыч ушел с заимки, предоставив ее брату Ипполиту, а сам промышлял где-то на стороне какими-то темными делами. Время от времени он неожиданно

появлялся на заимке и так же неожиданно исчезал. Иван Павлыч как-то особенно любил своего тронутого брата и снабжал его всем необходимым. Эта семья в окрестностях пользовалась плохой славой, особенно покойный старик, который, по словам старожилов, промышлял в свое время разбоями по Сибирскому тракту, а под старость устроился на заимке. Младший сын Иван Павлыч пошел в отца, и только Ипполит вырос сам по себе и жил сам по себе. Ипполита знали только как брата Ивана Павлыча и поэтому называли «брат Ипполит», или попросту – Аполит.

II

Чтобы отвлечь внимание «брата Ипполита», я с особенной настойчивостью потребовал от него самовар.

– А я сейчас... – точно обрадовался он, направляясь к избе.

Заимка состояла из одной большой избы, вросшей в землю. За ней горбились крыши амбаров и сарая. Внутренний двор был темный, наглухо крытый тесом, как строятся на Урале раскольники. В сущности это была настоящая деревянная крепость, в которую по-

пасть можно было только через крепкие шатровые ворота. Старик строился крепко, на сто лет. Рядом с избой шел огород, но грядки были запущены, – «брат Ипполит» не любил, видимо, заниматься этим делом.

С полдороги в избу «брат Ипполит» вернулся и тревожно спросил меня:

– А Найда лаяла на вас, барин?

– Кажется, нет. Хорошенько не помню...

– Это ихний песик лаял, – вмешался Виллок. – Твоя Найда, известно, немая... Значит, лишенная лая.

«Брат Ипполит» сердито посмотрел на солдата, плюнул и, повернувшись, зашагал к избе.

– Не любит... ха-ха! – заливался Виллок. – Это ему хуже всего, то есть эта самая Найда.

– Почему хуже?

– А не лает... Он ее щенком взял, выкормил, вот как ухаживал, а она и не лает. Ко всем ласкается, хвостом вертит, а своего настоящего собачьего дела не понимает ни сколько. Какой пес, ежели он не лает...

Переменив тон, Виллок проговорил жалобным тоном:

– А ведь он меня, дьявол, ловко обломал... Крыльцами не могу шевельнуть. Барин, нет ли у вас водочки... значит, натереться...

Когда я налил из фляжки походный стаканчик, солдат посмотрел его к свету, покачал головой и, вместо того чтобы натереться, – выпил.

– Оно вернее будет, – решил он, вытирая шершавые усы прямо рукой. – Значит, из нутра лучше достигнет...

По наружности Виллок был то, что называется мусорным мужичонкой. Он был весь какой-то нескладный – спина горбилась, лопатки выступали, шея гусиная, вся физиономия имела захватанный вид. Даже военная служба ничего не могла поделать. Впрочем, Виллок за малоспособностью к строю «отмаячил» свою солдатчину в денщиках, причем ругательски ругал офицеров из немцев. Сейчас он был не у дел, а шатался с места на место – то на заводской фабрике пристроится, то на золотых промыслах, то в городе шляется. Он не мог долго усидеть на одном месте и в конце концов, возвращался к себе домой – он был из одного завода с «братом Ипполитом».

– Порченный я человек, вот главная причина, – объяснял Виллок свое поведение. – Болони у меня повреждены, когда тащил орудию. Пушка-то медная, ну и надорвался.

– У тебя жена есть, Виллок?

– А то как же? Обыкновенно... Только она со мной не живет. В городе куфаркой служит. В гости к ней езжу... Так она, значит, неспособная жена. «Какой, говорит, ты муж, коли у тебя ни кола ни двора?» Сколько разов я ее принимался бить, ничего не понимает. Вот все равно, как Найда... Тоже солдат солдату рознь. Другой в солдатах-то только и делал, что капусту караулил на солдатских огородах, а я под хивинца ходил. Как же, Хиву эту самую замиряли.

– Да ведь ты в денщиках был и в сражениях не участвовал?

– Это все одно... Хивинец-то во всех одинаково палил, еще в обозе-то похуже случалось. А что мы без воды муки приняли в песках – пить-то одинаково хочет и строевой солдат и денщик.

«Брат Ипполит» вынес самовар и принялся его «наставлять» с каким-то особенным вни-

манием. Горячие уголья он брал из костра прямо рукой, а потом наклонялся над самоваром и раздувал его до того, что лицо наливалось кровью и делалось красным, как сафьян.

– Ишь старается, – смеялся Вилок, раскуривая коротенькую трубочку. – А понятия-то и нет, как ставить самовар по-настоящему. Аполит, ты сверху-то сколько угодно дуй, все равно ничего не выйдет... Ты его дунь снизу, несообразный человек.

«Брат Ипполит» не обращал на эти замечания никакого внимания и продолжал свое дело с прежним усердием.

Было уже совсем темно. В лесу стояла мертвая тишина, нарушаемая только изредка теми ночными звуками, происхождение которых трудно объяснить: может быть, всполохнулась ночная птица, может быть, треснул сухой сучок под ногой осторожного зверя. Близость озера чувствовалась по теплomu влажному воздуху, который тянул от воды, да по мерному плеску сонной озерной волны, со-савшей илистый берег и заставлявшей шелестеть береговую поросль из ситников. Казалось, что дышит что-то такое большое-больш-

шое, как чудовище из детской сказки, и что ответно шепчутся прибрежные тальники и зеленая осока. Хорошо в такую темную ночь сидеть около огня и мечтать. Мысли тянутся в голове как-то особенно легко, без всякого принуждения, и чувствуешь, что отдыхаешь. В такие минуты мне всегда делается жаль людей, которым приходится проводить лето в городе, среди городской пыли и духоты. Ведь сколько наслаждения вот так просто посидеть в лесу ночью у огонька. Как-то и люди здесь кажутся другими – и проще, и добрее, и естественнее. Мне, например, нравился и молчаливый «брат Ипполит» и бесшабашный солдат Вилок. Ведь они такие же люди, как и все.

– Аполит, а ведь Найда у тебя не будет лаять, – начал опять Вилок, когда «брат Ипполит» поставил около нас кипевший самовар.

– Ну тебя... – сумрачно ответил «брат Ипполит».

– Нет, серьезно... – не унимался Вилок. – Давай три цалковых – я живо выучу. Вот как будет заливаться...

– Оставь ты его, – уговаривал я солдата. –

Видишь, что человеку неприятно, и пристаешь...

– Разе он что понимает?

– Все, конечно, понимает...

– А ежели он лишенный ума? То есть как есть ничего не понимает. Отец-то оставил какую им заимку: три лошади, две коровы, штук десять овец, свиньи, куры, гуси – полная чаша. А где теперь все добро? Было да сплыло... А все Аполит разорил. Кабы не Иван Павлыч, так ходил бы по базару с ручкой, даром что из себя вон какое дерево стоеросовое.

– А пчелы?

– Ну, пчелы – особь статья. Действительно, Аполит ведет их отменно. А опять есть своя причина: табаку он не курит, водки не пьет, баб терпеть ненавидит – вот пчела сама и ведется. Она уж чувствует, божья тваринка... Подойди-ка к ней человек, который не в аккurate, – только ее и видел.

Разговор принял странную форму. «Брат Ипполит» пил чай вместе с нами, а Виллок говорил о нем, как об отсутствовавшем. Мне делалось даже немного неловко, особенно когда «брат Ипполит» смотрел на нас своими доб-

рыми, детскими, непонимающими глазами – с нами сидело только тело, а ум витал в неизвестной области. Иногда «брат Ипполит» начинал что-то бормотать, – люди, которые живут в одиночестве, усваивают привычку думать вслух.

– Ишь бормочет, точно тетерев, – возмущался Вилок. – А поди разбери его, что он бормочет... И удивительное это дело, отчего у него никакая скотина не педется. Ведь как он ухаживает за ней... Моет, чистит, кормит из рук, а скотина не держится. Аполит, петух-то у тебя жив?

– В избе... – сумрачно ответил «брат Ипполит».

– Вот видите... Уж и греха только было с этим петухом! У Аполита оставалась после отца последняя коровенка, а у нас на заводе вдова живет, значит, Савишна. Ну, так, одним словом, вдова, непокрытое место, все одно, как огород без изгороди: кто пойдет мимо – тот и отщипнет. При муже-то справно жила, а тут все хозяйство нарушила. Остался у Савишны один петушок... И что бы, вы думали, придумала она? Взяла этого петушка да к Аполи-

ту: «Давай, слышь, меняться на корову. К чему тебе, мужику, корову, а петух тебе часы будет петть...» Ха-ха! То-то дошлая бабешка... Аполит-то возьми и променяй. Ей-богу, не вру... Вот спросите самого. Третий год петух с ним вместе в избе живет. И что только он с ним делает, Аполит, – мылом его даже мыл. А петух-то возьми да и захворай: с глазом у него что-то попритчилось. Так Аполит его на завод к доктору носил. Все померли со смеху, как он его на руках тащил, точно баба с младенцем.

«Брат Ипполит» продолжал молчать, точно Виллок рассказывал о ком-то постороннем.

– Ну что у тебя петух-то? – приставал Виллок.

– Отстань... – мрачно отвечал «брат Ипполит», глядя на огонь.

Я с Вилком остался ночевать у костра. В избе у «брата Ипполита» был разведен настоящий клоповник. А спать на открытом воздухе своего рода удовольствие, хотя с озера и тянуло сыростью и холодком, заставлявшими кутаться. Под утро, когда на небе появились предрассветные отбелы, Орлик предупредительно заворчал. Виллок уже проснулся и шеп-

нул:

– Барин, глядите, что Аполит выделявает...

Действительно, «брат Ипполит» вылезал из окна своей избы, свесив громадные босые ноги. Спустившись, он осторожно подкрался к воротам и постучал. В ответ послышался радостный визг Найды.

– Это он пса сердит... – шептал Виллок. – Да не потеха ли!..

Когда этот опыт не удался, «брат Ипполит» обошел заимку огородом и скрылся. Где-то на задворках послышался собачий лай.

– Это он сам лает... – объяснил Виллок, задыхаясь от смеха. – Ах, Аполит, Аполит!.. Да не Аполит ли...

Найда так и не залаяла, несмотря даже на камень, которым Виллок запустил в ворота. «Брат Ипполит» залез в избу через окно, а Виллок хохотал, спрятав лицо в траве.

III

Рано утром я с «братом Ипполитом» направился на охоту за утками. Виллок спал у костра мертвым сном. Провожала нас одна Найда.

– Ты у меня смотри, – повторил ей несколько раз «брат Ипполит».

Найда виновато вертела хвостом и жалобно взвизгивала. Остававшийся на берегу Орлик неистово лаял и делал попытку броситься за нашей лодкой вплавь. Я не охотник до водяного спорта и решаюсь ехать в лодке только в таких крайних случаях, как охота. Дело в том, что в разные сроки мне приходилось три раза тонуть, и на этом основании я питаю органическое недоверие к коварной водяной стихии. Впрочем, сейчас озеро было совершенно спокойно, еще не поднялся ночной туман. Маленькая душегубка, которая едва поднимала нас обоих, летела около камышей щукой. Там и сям срывались утки и благополучно исчезали, несмотря на мои выстрелы.

– Улетели... – добродушно повторял «брат Ипполит» после каждого неудачного выстрела. – Ишь, тварь, тоже чувствует.

Мне не в первый раз приходилось ездить с ним на охоту, и «брат Ипполит» знал все, что нужно. Водяная птица кормится главным образом ночью, а днем прячется на «лавдах», как называют здесь плавучие островки из ситника и осоки. Между ними образуются уз-

кие проходы, в которых неопытный человек может заблудиться. Рассказывают, что в таких проходах погиб не один охотник, понадевшийся на русское авось. Впрочем, «брат Ипполит» был в лавдах, как у себя дома, и наша утлая лодчонка смело пробиралась в самой гуще высоких зеленых зарослей.

Мы часа два плавали по зеленым живым коридорам, где ситник поднимался почти на сажень. Стоя в лодке на ногах, трудно было рассмотреть что-нибудь.

– Смотри, чтобы на озере не поднялась волна, – предупреждал я.

– Зачем ей подниматься? – спокойно отвечал «брат Ипполит», поглядывая на совершенно чистое летнее небо.

Утро было великолепное. Опасность могла показаться только из-за синевшей на западе гряды лесистых гор, откуда дождевые облака точно скатывались на благословенные равнины Зауралья. Вода в озере была совершенно прозрачна, так что на глубине трех сажен можно было отчетливо рассмотреть каждый камешек и выстилавшие дно красивые водоросли. Там и сям видно было, как рыба ходи-

да прямо руном.

– Ты много ловишь рыбы, Ипполит?

– Нет, мало...

– Почему?

– А дерутся...

– Кто?

– Арендатели... Когда покойный батюшка снимал заимку, так не выговорил себе рыбы. Озеро-то, значит, было ничье: кто хотел, тот и ловил. Ну, а после того оказалось, что оно башкирское... Ну, башкиры и сдают арендателям, а арендатели сторожей наставили. Вот я выйду ловить рыбу, заброшу мережку, а сторожа на меня. Ну, сейчас драка: они меня бьют, я их бью. Сколько мережек у меня разорвали сторожа... Главное, сажу у самой рыбы, хоть ложкой ее черпай, а нельзя. К мировому сколько раз меня таскали... И чего, подумаешь, жалеют: не стало им рыбы в озере... Не бойсь, на всех хватит и от нас еще останется. Вон зимние тони бывают тыщи по три пудов.

Зауральские озера славятся баснословными рыбными богатствами, что объясняется присутствием в этих озерах маленького рачка «мормыша». Эта маленькая креветка – не

больше обыкновенного таракана-прусака. Благодаря мормышу рыба в зауральских озерах растет в пять раз быстрее, чем в Волге. Конечно, тоню в три тысячи пудов немыслимо вытащить на лед, никакой невод не выдержит. Ловля рыбы производится проще: неводом рыбу только окружают, а потом вычерпывают ее из прорубей. По словам известного ихтиолога Сабанеева, бывали тони по десяти тысяч пудов, причем не редкость ерши-фунтовики. По его словам, в озере Увильдах в семидесятых годах был пойман окунь в тридцать фунтов и щука в три пуда.

Солнце уже поднялось довольно высоко, когда я обратил внимание, что вода в лавдах начинает слегка волноваться, но «брат Ипполит» соблазнил заехать к одному озерному «окну», где, по его словам, держались гуси. Но гусей мы не нашли, а к нам навстречу дружной стайкой выплыл целый утиный выводок – впереди плыла мать, точно классная дама, а за ней косяком растянулись утята. Инстинктивно я схватился за ружье, но «брат Ипполит» предупредил меня, хлопнув в ладоши, – весь выводок точно брызнул в ситники.

Оставалась одна мать. Она держалась на выстрел, жертвуя собой, чтобы спасти детей.

– Ишь, тварь, ничего не боится, – удивлялся «брат Ипполит», любуясь материнским героизмом утки.

– Ну, теперь пора нам и домой, Ипполит...

– И то пора. А как ловко утята попрятались: ни в жисть не найти.

Желание полакомиться гусятиной стоило нам большой неприятности. Когда мы выбрались из лавд, по озеру уже ходили «беляки», и нашу душегубку начало качать, как грешную душу. Из-за гор незаметно выплыла тучка и гнала ветер. Возвращаться тем же путем, около лавд, было немыслимо – в случае, если бы опрокинуло лодку, о спасении нечего было бы и думать. Ничего не оставалось, как плыть прямо по озеру, выгадывая, чтобы волна была в корму. «Брат Ипполит» не выказывал и тени беспокойства, а я трусил и, прежде чем пуститься в этот опасный переезд по разгулявшемуся озеру, разделся – все-таки можно было в счастливом случае спастись, ухватившись за лодку. Наш переезд продолжался не больше часа, но такие вещи не забываются.

Говоря откровенно, я страшно трусил, когда набегал страшный девятый вал и лодка зарывалась в волнах. Так сердце и замрет... Запасу у лодки было всего вершка два, и нас могло погубить каждое неловкое движение. Но «брат Ипполит» мастерски правил своим двухперым веслом, и мы благополучно причалили к устью, на котором стояла заимка. Я дал себе слово никогда больше не ездить на таких проклятых душегубках и даже не мог прикоснуться к убитым уткам, из которых «брат Ипполит» приготовил похлебку.

Солдата на заимке уже не было. Оставались одни собаки, да бродил в одиночестве кривой петух, обреченный на монашество. В наше отсутствие солдат успел напиться чаю, съел весь хлеб и как ни в чем не бывало ушел. После него осталась только яичная скорлупа да корочка черствого хлеба.

– Выкрал яйца у меня... – спокойно объяснил «брат Ипполит», рассматривая «кухонные остатки» после Вилка. – Этакой вороватый солдат...

Мне нравилось на заимке «брата Ипполита», и я остался до вечера, чтобы еще раз схо-

дить на охоту. Да в жар и идти было трудно, а ночью я плохо спал и встал рано. Выбрав за-весистую березу, я расположился под ней. Днем спать в тени как-то особенно хорошо, а тут еще с озера дул освежавший ветерок. С занятого мной пункта было видно все, что делалось на заимке. «Брат Ипполит» вообще отличался естественностью и был всегда одинаков. При людях он делал то же, что делал бы, вероятно, и один. Сейчас он вывел свою новопкупку, которая была заботливо поставлена на время жара в конюшню, несколько раз обошел ее кругом и рассматривал ее с таким вниманием, с каким, вероятно, ювелир не рассматривает редкой воды брильянт. Безмолвными свидетелями этого осмотра были Найда и кривой петух. Они ходили за хозяином и тоже осматривали новопкупку, как нового члена своей оригинальной семьи. Да, это была настоящая семья, таинственно связанная между собой невидимыми нитями. Я долго наблюдал эту живую картину, и мне казалось, что все они отлично понимают друг друга. Даже убогая новопкупка точно хотела что-то сказать и шевелила губами. Может быть, она оправ-

дывалась в собственной убогости или просила извинения. «Брат Ипполит» все ходил кругом и думал вслух:

– Ишь ты, какой одёр... Тебя бы башкирам на махан [4] продать. Да.

Несколько раз счастливый покупатель брал хвост новокупки в руки и рассматривал его с особенным вниманием... Очевидно, этот куцый хвост смущал его больше, чем все остальные недочеты по части лошадиной красоты.

– Ну и хвост... – удивлялся «брат Ипполит», обращаясь уже к петуху и Найде. – Разве такие хвосты бывают? Вон у иноходца какой был хвост – по земле тащился...

Петух заглядывал сбоку своим единственным оком на предъявленный хозяином хвост новокупки и, по-видимому, был согласен с его мнением. Найда, наоборот, оставалась довольной и несколько раз делала попытку лизнуть новокупку прямо в губы.

В заключение этого экзамена «брат Ипполит» сел на новокупку верхом, отчаянно заболтал босыми ногами и погнал по тропинке в лес. Лошадь бежала скверной тряской ры-

сью, и громадное тело «брата Ипполита» подпрыгивало на ее костлявой спине – вместе всадник и лошадь изображали что-то вроде громадной летучей мыши, когда «брат Ипполит» расставлял широко локти и ветер надувал его рубаху.

Страстная любовь к животным «брата Ипполита» служила самой трогательной иллюстрацией его общей тронутости. Если в обществе других нормальных людей он казался чужим, то среди своих любимых животных являлся своим. Ведь между психологией человека и животного есть своя таинственная связь.

IV

Меня разбудил громкий спор. Солнце так и палило, так что больно было смотреть. На самом припеке сидели «брат Ипполит» и солдат Виллок и ругались. Солдат был навеселе и размахивал бутылкой водки.

– Нет, за что ты меня вчера хотел убить? – повторял Виллок с навязчивостью пьяного человека.

– И надо было убить, – спокойно отвечал «брат Ипполит». – Вперед не плутуй... Омманул ты меня кругом...

– А у тебя-то свои глаза в соседях были? Дураков учат и плакать не велят... Не иголку покупал. Ежели бы не барин, так задушил бы ты меня, Аполит...

– И задушил бы, – спокойно соглашался «брат Ипполит».

Солдата больше всего возмущал именно этот спокойный тон, и он начинал все сильнее придирааться.

– Нет, ежели ты правильный человек, так ты должен просить у меня прощенья... да... Да еще за бесчестье полштоф выставить: «На, солдат, выпей...» Вот как должен поступать правильный человек. Я не могу вон крыльцами [5] шевельнуть. Ежели бы я на тебя, напримерно, навалился и учал тебя, напримерно, душить – ну, что бы ты мне сказал? Обор-мот ты, вот что. Вон он, барин-от, он все видел. Да... Будь я жиденский да хворый – тут бы мне и конец.

– Что ты пристал, как осенняя муха? – начал, злиться «брат Ипполит».

– А ты что? Да ты не толкайся... Я ведь и сам сдачи дам... Простоват я на это...

Завязалась бы, вероятно, опять самая отча-

янная драка. Как все тронутые люди, «брат Ипполит» терпел долго, а потом вдруг приходил в бешенство. Он уже схватил солдата своей могучей рукой за шиворот и свалил его на траву, когда я вмешался.

– Оставьте его, Ипполит. Не стоит связываться с пьяным человеком...

Бледный от бешенства, «брат Ипполит» смотрел на меня не понимавшими ничего глазами, продолжая держать отчаянно барахтавшегося солдата.

– Ой, батюшки, убили! – вопил солдат. – Ой, смертынька...

Мне с большим трудом удалось отцепить «брата Ипполита» от его жертвы. Он тяжело дышал и дрожал, как в лихорадке.

– А тебе как не стыдно приставать? – заметил я Вилку, вскочившему на ноги. – Сам виноват...

– Я же и виноват?! – обозлился Вилкок уже на меня. – Да я... Ах, боже мой, и что бы я только, кажется, с ним сделал, ежели бы вы не помешали! Разорвал бы на три части... Простоват я на этот счет. Вот бы как изувачил...

– Ну, хорошо, хорошо. Будет...

– Слава богу, вполне можем соответствовать.

«Брат Ипполит» на этот раз долго не мог успокоиться и все порывался схватить солдата.

– Вот вы меня пьяным обозвали, – приставал Виллок уже ко мне, пошатываясь на ногах. – Да... А я, может, потрезвее всех буду.

– Оно и заметно.

– Это у меня в натуре ошибка, барин. Ежели бы вас отдать в военную службу да заставить по пескам тащить орудию... А что он понимает, Аполит? Так, бормочет только себе под нос, как глухарь, а настоящего-то понятия и нет в ем...

– Однако вот понял, что ты его обманул.

– Я? Обманул? Да вот сейчас провалиться... с места не сойти... А вы: обманул. Деньги были нужны, а то бы этакую лошадь ни в жисть бы не продал. Вот и вся причина. Угодница, а не лошадь.

– Чего тут не понимать-то? – заговорил «брат Ипполит», успокоившись. – Даже очень хорошо понимаю... Вот у меня был иноходец,

вот это лошадь. Как пойдет чесать – земля бежит из-под ног. За мной, как собака, ходила по лесу. Бывало, уеду на завод, сниму узду и только скажу: «На заимку!» Он уж знает... Все только дивятся, как я без узды на нем гоню.

– Знаю, видал, – согласился солдат. – Только было да сплыло. Где он твой иноходец?

– А подход. Мышки его задушили в жар. Я и коновала приводил, кровь ему отворяли – так и подход.

– Вот то-то. Куда тебе хорошей лошастью владать... Скотина тоже к рукам. Да и не ты его покупал, иноходца.

– Братец, Иван Павлыч, в степи его купил.

– Иван-то Павлыч уж купит, без денег купит... И опять вот ты сказал: в степи. Это опять особь статья. Разе степную лошадь можно применить к нашей?

– Такая же.

– Такая да не совсем. Вот и выходит, что понятия в тебе нет, настоящего понятия. Глядеть – оно, пожалуй, и все одно, а на деле-то и разница вон какая.

– Ну-ка, скажи, какая разница?

– И скажу! Думаешь: не скажу? Изволь,

сколько угодно. У степной лошади бабки высокие – вот тебе раз, ребро круглое – два, плечо прямое – три, мослы – хоть шапки вешай.

Вилок отпил водки прямо из горлышка, крякнул и продолжал:

– Случай был, когда мы хивинца замиряли. Известно, степь, песок. Жарынь такая, что кожа лопалась на лице. Ну, начальник отряда у нас был немец... как его фамилия... Немецкая фамилия: Гниль... Гиль... А черт его знает; язык переломится выговорить. Солдаты так его и называли: «Гниль да в шубе». Ей-богу, такая фамилия...

– Гильденштубе?.. – попробовал я догадаться.

– Вот-вот, около этого самого. Вот этот самый Гниль-да-в-шубе и повел нас на пересечку, значит, соединяться с генералом Кауфманом. Ну и завел нас немец в такие пески, что ложись и помирай. Верблюды попадали, а мы на руках должны полевую орудия тащить. Песок, бурханы – этакие пригорки, топи из песку, моченьки нашей нет, а Гниль-да-в-шубе нас все вперед погоняет. Главное, что вода у нас вся вышла, а жажда вот так и томит. Ка-

жется, за бутылку воды кожу бы с себя снял. Хорошо. Таким манером, значит, мы промаялись целых два дня... Которые были русские офицера – тоже начали сумлеваться. Один солдатик, Кирюхин, в песельниках он был, говорил, что мы очень влево забрали, а надо совершенно, значит, наоборот. Ну, известно, простой солдатик, немец-то ему же погрозил, зачем, мол, народ сомущаешь. А тут ослабевшие явились: идет-идет солдатик и свалится. И его тоже, значит, тащи, потому не бросать же в степи. А Гниль-да-в-шубе все нас ведет налево и довел он до того, что всем у смерти конец. Известно, немец. И что же, братец ты мой, думаешь, кажется, еще бы версты с две по пескам пройти, все бы сдохли. Ей-богу... Никакого терпения не стало. Только этот-то солдатик Кирюхин как крикнет: «Братцы, лошадь...» Где лошадь? Как она в такие пески забралась одна? Офицерия в трубку посмотрели – действительно, лошадь, да еще на трех ногах. Левую переднюю ножку ей пулей прошибло, ну, значит, хивинец ее и бросил в степи, и она себе одна ковыляет. Смотрим, лошадь-то направо идет, как и говорил Кирю-

хин. Пойдет-пойдет и остановится передохнуть. А куда ей в степи-то идти, значит, к воде маячит, потому коли лошадь степная и чувствует воду. И, действительно, как сказал Кирюхин, так и вышло: вывела нас лошадка прямо к колодцу. Тут мы и ожили. На твоего иноходца лошадка-то походила: так, гнеденькая, грива на левую сторону. Весь отряд спасла... Вот она какая бывает эта самая степная лошадь! После, солдатики рассказывали, государь очень благодарил нашего Гниль-да-в-шубе и орден ему дал: «Я, грит, на тебя надеюсь вполне, Гниль-да-в-шубе». А все и дело-то в лошадке было... Известно, где государю все знать. Немец-то, конечно, промолчал о лошади...

Закончив рассказ, Виллок с каким-то ожесточением допил остававшуюся в бутылке водку.

«Брат Ипполит» был растроган этим рассказом до глубины души и, свесив голову как-то набок, повторял с блаженной улыбкой:

– Лошадь-то, а? Вот так лошадка... Тоже, скажешь, ничего не понимает?

– Ну, вот опять вышел глупый человек! – рассердился Виллок. – Как же лошадь стала бы

жить, ежели бы она не понимала по своей части?

Через два года я был на заимке. Изба стояла заколоченная, и вся заимка представляла грустную картину разрушения. Меня сопровождал на охоту Вилок, бывший по обыкновению навеселе.

– Шабаш!.. – проговорил он, поглядывая на пустовавшую заимку.

– А где теперь «брат Ипполит»?

– А так, где день – где ночь. Как, значит, Ивана Павлыча убили в третьем годе, где-то в степи, ну, и ему со всех сторон, значит, вышла крышка. А тут еще арендатели стали теснить... Ну, и окончательно выжили. Рехнулся Аполит-то совсем... Ходит по базару со своим кривым петухом – может, помните? – показывает всем и говорит, что это часы. Слышь, и ночью ходят...

С этим грустным рассказом как-то совсем не вязалось ликующее летнее утро. Крутом было так хорошо. Все зелено, все жило, а с устья доносился веселый гул вечно волновавшегося горного озера.

Примечания

безделъе (итал.).

[^^^]

Выскарь – корни поваленного дерева, когда они образуют терновый щит (авт.).

[^^^]

Пайвы – дорожные переметные сумы, плетенные из бересты (авт.).

[^^^]

Махан – вареное лошадиное мясо (авт.).

[^^^]

Крыльца – лопатки (авт.).

[^^^]